С. А.
АНДРЕЕВСКИЙ

Избранное

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«Нет в жизни ничего поразительнее смерти. Она отрицает все, перед чем мы преклоняемся: гений, красоту, власть. Она делает наше отдельное существование таким бессмысленным, что, собственно говоря, каждому следовало бы сойти с ума от сознания, что он умрет. Но от этого никто с ума не сходит.

Над раскрытой могилой прославленных людей произносят речи. В них обыкновенно говорится, что «безжалостная смерть» похитила этого человека, но что «его дела будут жить». Здесь сказывается и наша хвастливость перед силою смерти, и стремление побудить других людей продолжать без уныния заниматься общеполезными делами. Но и то и другое бесцельно. Никакое хвастовство не запугает смерти, и никакие ее опустошения не остановят здоровых людей в их занятиях…»

- Сергей Аркадьевич Андреевский
  -
  - Часть первая
    - I
    - II
    - III
    - IV
    - V
  - Часть вторая
    - I
    - II
    - III
    - IV
    - V
    - VI
    - VII
    - VIII
    - IX
    - X
    - XI
    - XII
    - XIII
    - XIV
    - XV
    - XVI
    - XVII
    - XVIII

- XIX
- XX
- XXI
- XXII
- XXIII
- XXIV
- XXV
- XXVI
- XXVII
- XXVIII
- XXIX
- XXX
- XXXI
- XXXII
- XXXIII
- XXXIV
- XXXV
- XXXVI
- XXXVII
- XXXVIII
- XXXIX
- XL
- XLI
- XLII
- XLIII
- XLIV
- XLV
- XLVI
- XLVII
- XLVIII
- XLIX
- L
- LI

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10

- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22

Сергей Аркадьевич Андреевский
Книга о смерти. Том I

Пусть, когда закроется книга моей жизни, раскроется моя книга о смерти.

Я ее посвящаю вам, живые, не для того, чтобы омрачить ваше сердце, но для того, чтобы каждый из нас смотрел на свою жизнь, как на непроницаемую святыню.

Нет в жизни ничего поразительнее смерти. Она отрицает все, перед чем мы преклоняемся: гений, красоту, власть. Она делает наше отдельное существование таким бессмысленным, что, собственно говоря, каждому следовало бы сойти с ума от сознания, что он умрет. Но от этого никто с ума не сходит.

Над раскрытой могилой прославленных людей произносят речи. В них обыкновенно говорится, что «безжалостная смерть» похитила этого человека, но что «его дела будут жить». Здесь сказывается и наша хвастливость перед силою смерти, и стремление побудить других людей продолжать без уныния заниматься общеполезными делами. Но и то и другое бесцельно. Никакое хвастовство не запугает смерти, и никакие ее опустошения не остановят здоровых людей в их занятиях. Они будут заниматься потому, что такова уже их природа и что всякая смерть ими забывается, будто она была суждена только покойнику, но не им. Но сколько бы там ни разглагольствовали ораторы, теснящиеся возле дыры с опущенным в нее гробом, об энергии человечества – все-таки всего менее энергии к «делу» может внушить именно этот последний мертвец. Всякий знает, что в агонии, когда мутился его ум, он был совершенно чужд тому делу, которое любил при жизни, и всякий уходит от этой зарытой куклы с сознанием какой-то неразрешимой нелепости. Недоумение это, впрочем, скоро проходит… до нового подобного же случая, когда совершенно заново – сколько бы похорон ни повторилось – возникает и опять так же быстро проходит то же самое недоумение. И так все живут от сотворения мира.

Природа нестерпимо умна, то есть так умна, что мы не только не можем переделать ее законов, но при всем нашем негодовании на нее, при всем нашем страдании от нее, – мы не в силах даже придумать иного устройства мира. Кажется, чего

проще – устранить смерть, и все было бы хорошо… Но попробуйте. При настоящем строе все мило, потому что преходимо, – тогда бы все сделалось постоянным и стало несносным. Наша любимая земля, если бы только с нее решительно никогда и никуда ни за какие блага невозможно было уйти, сделалась бы нам столь ненавистною, что мы, сжимая кулаки и стуча головами о камни, изрыгали бы проклятия на те далекие звезды, которые теперь почему-то кажутся нам такими таинственными и сродными. Они были бы от нас еще дальше, чем теперь… Не было бы ни власти, ни религии, потому что никто бы не мог отнять жизни. Встречая постоянно Адама, Клеопатру и Александра Македонского, мы были бы к ним совершенно равнодушны и не имели бы истории. Поэт и художник ничего бы не создавали, потому что у них не было бы побуждений оставить свой след, да и мотивы для искусства совершенно бы исчезли в этой неизменной, неразвивающейся жизни. Все люди имели бы один возраст, и юность утратила бы свою прелесть. Все, что мы называем «благами жизни»: удобство, роскошь, ткани, которые нежат наше тело, колесницы и вагоны, избавляющие нас от утомления, дворцы, заставляющие нас забывать о погоде и климате, – все это не только бы лишилось значения, но едва ли бы и возникло, потому что холод бы нас не простуживал, голод нам не вредил, усталость не изнуряла и т. д. и т. д. Самое различие полов едва ли было бы нужно и возможно, потому что в обновлении человечества, сделавшегося неистребимым во всем его составе, не было бы надобности, а безграничное разложение его было бы очевидно невозможно. Словом, та именно жизнь, которую мы теперь так страстно любим, ни под каким видом не могла бы быть такою, как теперь, если бы не было смерти. Сохранить ее в настоящем ее виде, с устранением из нее смерти, не было бы никакой возможности. И как ни странно, но следует сказать, что та жизнь, которую мы любим, создана не чем иным, как смертью.

Но как бы там ни было – смерть ужасна, отвратительна, непостижима!

И сколько я о ней думал!

Вот история этих мыслей.

Часть первая

I

Туман лежит еще кругом
Над полем детских наблюдений…

Стараюсь вспомнить, когда именно я получил первое понятие о смерти в самом раннем детстве. Для этого нужно рассказать о начале моей жизни.

29 декабря 1847 года, близ Луганска, в селе Александровке Славяносербского уезда, матушка моя разрешилась от бремени близнецами, из которых вторым новорожденным был я.

Александровка принадлежала двоюродному дяде моей матери, богатейшему в том крае помещику Сомову. Сомовский дом был настоящий дворец, с белым залом под мрамор, с гостиными, диванными, бильярдными, угольными, молельнями и всякими другими комнатами, в том числе с «зеленою комнатою», в которой мы с братом родились. Матушка находилась там в центре своего многочисленного родства. Отец в то время переезжал на службу из Тифлиса в Петрозаводск. Невозможно было в такую далекую дорогу, да еще зимою, брать с собою двух крошек. Решили одного из нас, по жребию, оставить на воспитание у матушкиной сестры, проживавшей в Луганске с своим мужем, доктором. Жребий этот достался на мою долю.

Но я не долго оставался на руках у тетки и был передан ею на попечение моей прабабушке, которая перевезла меня в деревню Веселая Гора, в пятнадцати верстах от Луганска[1]. Там-то я и прожил до девятого года, не видав ранее ни отца, ни матери, у которых к тому времени уже было трое неизвестных мне сыновей (в том числе мой близнец) и одна дочь, старшая из всех нас.

Веселая Гора – чудесное, живописное село на берегу Донца, с громадным барским домом в сорок комнат. Если въезжать со стороны Луганска, то приходится спускаться в деревню с горы; влево, на небольшом холме, церковь, окруженная кустами желтого шиповника и опоясанная белым каменным забором. Далее, по главной улице, – хлебный магазин и стеариновая фабрика, а вправо – помещичий дом, белый, двухэтажный, со множеством окон и с балконами на все четыре стороны, причем с балкона, обращенного к саду, две лестницы спускаются до земли. Вслед за домом – Донец. По ту сторону Донца – лес, лес и лес, насколько видит глаз; да и на этом берегу Донца, позади помещичьего сада, такой же густой лес. И когда из дома

смотришь на сад, то справа видишь высокую гору.

Здесь я проживал с прабабушкой и ее компаньонкой почти в полном одиночестве, потому что многочисленные потомки прабабушки были постоянно в разброде, а ближайшие члены ее семьи большею частью проживали в Луганске, где в то время поселилось целое общество образованных горных инженеров и где при чугунно-литейном заводе сосредоточилось управление горного округа. В просторных комнатах Весело-Горского дома мы жили втроем, окруженные разнообразною дворнею из крепостных: дворецкий, ключник, староста, нянька, прачка, булочница, птичница, коровница, старухи, приходившие дежурить на ночь, горничные, взрослые и малолетние, и т. д.

Прабабушке моей было уже за восемьдесят лет. Она была сухощавая, маленькая, сгорбленная и глуховатая, но зубы у нее сохранились, и ее реденькие волосы были темно-желтого цвета, без седины; она их связывала в узелок на макушке и прикрывала белым чепцом только при чужих. Платье носила черное, недлинное, с поясками, которые она любила перебирать в руках. Компаньонка, вдова одного харьковского чиновника, – институтка по образованию, – была белая и розовая пятидесятилетняя женщина с лысеющим пробором среди головы, с маленькими светлыми начесами, прикрывавшими, по тогдашней моде, наполовину ее уши. Она говорила медленно и явственно и писала красивым почерком; руки у нее были полные, правильной формы, с веснушками. Она часто надевала черные вязаные митенки и носила в ушах маленькие серебряные серьги. Эта добрая Надежда Васильевна первая обучила меня грамоте; она же преподавала мне Священное Писание по маленькой книжке без переплета, напечатанной на толстой и мягкой, как вата, бумаге. В книжке были картинки, но такие тусклые, что в жертвоприношении Авраама я никак не мог найти барашка, хотя мне и указывали его в одном углу картинки, где что-то сгущалось в загадочное пятно. Я постоянно возвращался к этому пятну; в иные дни мне казалось, будто я различаю голову барашка, высунувшуюся из травы, но потом я снова терял эту способность и не умел видеть даже этой головы.

Обе женщины были чрезвычайно религиозны. Прабабушка, с которою я спал в одной комнате, всегда утром и на ночь молилась очень долго. Она произносила молитвы вполголоса, иногда останавливаясь перед киотом, у которого всегда горела лампадка, но большею частью молилась, расхаживая по комнате и продолжая на ходу свой утренний или ночной туалет. Случалось, что она даже прерывала свою молитву и звала за чем-нибудь горничную, но потом опять принималась твердить святые слова с

деловым видом, как будто все это установлено навеки и никогда иным быть не может.

Посты соблюдались строго. В церковь мы ходили на каждую службу, кроме заутрень. По воскресеньям отец Иоанн с дьяконом всегда приходили после обедни в господский дом. Священник совершал краткую молитву и, подобрав широкий рукав своей рясы, благословлял завтрак. На столе всегда было одно и то же неизменное угощение: на одном блюде лежали пироги с творогом, к которым подавали соусник со свежею сметаною, а на другом – пироги с кислою капустою и перцем.

Так, помнится мне, проходили неделя за неделей. Между тем я начинал вбирать в себя жизнь с любопытством, изумлением, радостью и задумчивостью. Все мои пять чувств и моя робкая мысль пробудились сразу. К Пасхе приготовлялся длинный стол с волшебными блюдами и вокруг масляного барашка клалась первая травка – кресс-салат, – которую заранее сеяли в цветочный горшок и затем выращивали под стеклянною запотелою банкою на том окне, на котором чаще всего светило солнце. И эта курчавая нежная травка пахла такою свежею крепостью!..

Разлив Донца напоминал мне потоп: вода совсем покрывала белый забор, ограждавший усадьбу от реки, а затем кое-где, сквозь рябые волны, торчали голые ветки только самых высоких кустарников. На Донце появлялись желтые дощатые плоты; я смотрел из окон второго этажа, как они вдруг показывались с одной стороны – двигались медленно, почти неприметно для глаза, с двумя-тремя незнакомыми мужиками на них, и затем исчезали в другой стороне, проплывая мимо меня, подобно волшебным островам, которые посылались из одного неведомого царства в другое… Земля просыхала, деревья покрывались почками и зеленели… Качели в саду скрипели протяжно и мерно, когда с них соскакивали дворовые девушки, – и долго еще после того не могли умолкнуть… и я их слушал… Кукушка в лесу, за садом, отсчитывала чьи-то годы таким милым звуком. Невидимые лягушки квакали с упоением, перекрикивая друг друга с каким-то забавным и настойчивым хохотаньем. Укроп на грядах огорода, шпанские мухи в листьях ясеневой аллеи начинали издавать сильный, новый для меня запах. В едва раскрывшихся тюльпанах блестела роса, и у меня захватывало дух от радости, когда я заглядывал в нежную внутренность цветка…

Наступило лето. Солнце блистало и жарило. Все сорта цветов распускались и отцветали. Мухи распложались неимоверно; в сенях нижнего этажа они покрывали окна и потолки; несмолкаемый звон встречал меня, когда я проходил через сени, озаренные солнцем… А затем: запах первого снега в воздухе,

вкусные щипки первого мороза на щеках, чудесные льдистые узоры на окнах… Или еще: каким счастливым холодом дрожало мое детское тельце, когда меня впервые разбудили, чтобы вести на пасхальную заутреню! Какою очаровательною казалась мне серая темнота раннего утра при свечах!

Но и мысль моя пробуждалась. Прежде всего я узнал, что душа моя бессмертна. Душа представлялась мне в виде ангельской головки с крылышками, как рисуют херувимов. Мне объяснили, что эта невидимая душа помещается где-то в горле, вместе с дыханием, – и я верил этому и старался нащупать свою душу, прикасаясь пальцами к шее, и страдал от невозможности ее увидеть. Обо всех умерших окружающие всегда говорили: «на том свете». Я смотрел на небо, как на будущее жилище мое, куда улетит эта душа. Луна и звезды казались мне моей далекой родиной, куда меня со временем непременно возьмут. Они представлялись мне очень заманчивыми, но в то же время я иногда боялся этих высот, находя слишком грустным расстаться со всем тем, что вокруг меня раскрылось и что я так полюбил…

Первый покойник, о котором я слышал рассказы, был дедушка Андрей Яковлевич, бывший владелец Веселой Горы. Его уже не было, когда я начал сознавать себя, но о нем часто вспоминали в доме. В одной из дальних комнат нижнего этажа я видел его большой портрет на полотне, масляными красками, без рамы, висевший рядом с таким же портретом его вдовы, которую я знал; она была мало похожа; вероятно, и дедушка был плохо написан; он был изображен еще не старым, с темными волосами, с густыми усами и с перстнем на указательном пальце. Я не мог, однако, представить себе по этому портрету, каков он был живым. Но я убеждался, что картину писали именно с него, и никак не умел объяснить себе, как и куда он девался. Мне рассказывали, что он очень любил меня и перед смертью потребовал, чтобы меня принесли к нему, да так, будто, и умер, держа меня в своих руках… Я удивлялся, что в такую важнейшую, волшебную минуту я почему-то ничего не мог чувствовать и что дедушка, столь любивший меня, никакими силами не мог высказать мне своей любви, а главное, что мне, своему любимцу, он ничего не шепнул о том секрете, который с ним приключился и которого я теперь никак не умею разгадать…

Слово «мертвый» запало мне в голову из одной сказки. В долгие зимние вечера мне случалось сидеть в большой и темной столовой, где-нибудь в углу среди молоденьких горничных, из подростков. Они садились на пол, в кружок, и которая-нибудь из них брала меня к себе на колени. Самая бойкая и речистая из них, Аксинька, тихим голосом рассказывала сказки. Помню, что в

одной сказке повторялся припев:

Месяц светит,
Мертвый едет,
Живую везет,
Не боишься ли ты, моя душенька?

И как раз при этих словах на полу в темной комнате обозначился белый с черными переплетами отблеск окна, освещенного месяцем. Эти слова, запавшие мне в душу при свете луны, сделали то, что «мертвый» вызывал во мне чувство холода и грусти.

Раза два случилось, что на деревне кто-то из крестьян умер. Тогда раздавался «звон по мертвому». Я запомнил его с первого случая, потому что как только я его услышал, – необъяснимый испуг и беспредметное горе подступили к моему сердцу. Тонкий колокол невнятно, тревожно и часто повторял нежные, слезливые звуки, иногда чуть слышные, относимые в сторону ветром; потом раздавались реже, через секунду, более громкие удары – и все завершалось наиболее громким отзвоном, как бы умышленно оборванным… И через некоторое время опять слабо-слабо, как будто где-то за тридевять земель хныкал ребенок, возобновлялся мелкий звон – возобновлялся так неуловимо и вкрадчиво, что я обманывался, не верил своим ушам и прислушивался, полагая, что это плачет воздух… Но нет! звон понемногу выделялся очень явственно, и эта растянутая, ноющая песня повторялась до трех раз… И на долгие годы после того она каждый раз мутила мое сердце.

На горе за нашей деревней, несколько в стороне от дороги, ведущей в Луганск, была часовня из красного кирпича с одинокою синею главою в виде луковицы. Серый заборчик, с кустами сирени внутри, окаймлял часовню. Я видел ее с дороги и никогда о ней не думал. Но мне довелось узнать ее ближе.

Едва ли мне было более четырех лет, когда в Веселой Горе умер полугодовой ребенок моей тетки Евгений. Помню, что его всегда носили на руках, бледного и ласкового, с голой головкой. Я совсем не заметил, как и когда он умер; знаю только, что меня не пускали к нему в комнату, а затем, в течение целого дня, не пускали в столовую, где обе двери были затворены. Помню, что мы перевозили в ограду часовни розовый ящик с белыми позументами. Я сидел у кого-то на коленях в карете и смотрел на этот маленький ящик и плакал, видя, что плачут другие. Позади часовни была разделана стена, и на моих глазах этот красивый гробик был спущен мужиками на длинных полотенцах в глубокое

подземелье… Из разговоров я узнал, что гробик Евгения был там поставлен на гроб Андрея Яковлевича.

Как-то, много времени спустя, я гулял с нянькою за деревнею, и мы зашли с ней в ограду часовни. Густой бурьян разросся перед тою заднею кирпичною стеною, под которою я видел подвал. Мы едва пробирались через траву; стена была целая, и мне думалось, что я только видел во сне, будто она в тот раз открывалась. Но невдалеке от стены старая няня нашла в траве глубокую норку. Она к ней наклонилась и заглянула в нее, а когда поднялась, то тихо сказала мне: «Оттуда несет мертвым духом»… Но я побоялся приникнуть к земле…

Прошло еще немного времени.

Был у меня родной дядя по матери, молодой помещик, живший в своем имении Раевке, в семи верстах от Веселой Горы. Высокий, худощавый, темно-русый, с острыми серыми глазами, с вьющимися усами и резкою ямкою на подбородке, дядя Родя был красив, остер и зол на язык. Он умел рисовать такие карикатуры на бумаге и на карточных столах, что всех очаровывал, даже тех, с кого их писал. Я его побаивался. Он не любил, что меня слишком нежат, и если где-нибудь заставал меня одного, то сейчас же поднимал меня сзади за уши до своей головы; это он называл «показывать Москву», а я между тем орал от боли… Но со стороны, втихомолку, я любовался тем, что он всех покорял себе.

Дядя Родя женился в Харькове, и я помню тот день, когда он привез к нам свою жену – показать прабабушке. Жена его была небольшого роста, крепкая, но не полная, очень белая с очень черными, плоско причесанными волосами. Помню ее парадное платье из модной в то время тяжелой шелковой материи (damas) розового цвета с затканными по ней большими белыми букетами. Вокруг ее шеи поднималась тюлевая рюшь. Она часто и весело смеялась особенно приятным смехом, в котором слышались басовые нотки. Со мною она как-то бодро шутила и, казалось, находила меня любопытным ребенком. Прабабушка подарила ей нарочно выписанную для нее золотую чашку в шкатулке из светлого дерева. Эта шкатулка была внутри отделана белым бархатом, и в нем были две ямки: для чашки и для блюдечка.

Вскоре после того я как-то проснулся в ясное летнее утро и рассматривал голубые обои с белыми разводами на стене возле моей кроватки. В это время (я помню, что это случилось, именно когда я рассматривал обои) няня, надевая мне чулки, сказала: «А вы знаете, что дядя Родион Николаевич пропал?»

– Как пропал? Совсем? Куда же?

– Да вот, его везде уже искали и нигде не могут найти. Бабушка сейчас едут с вами и со мною в Раевку.

Известие это было очень странно. Мы поехали в Раевку; прабабушка всю дорогу молчала.

В Раевке я бывал и раньше, но деревню эту запомнил неясно. Знаю, что у дяди был одноэтажный, просторный дом и что все в этом доме было чистое, новенькое. Две комнаты остались в моей памяти: дядина уборная, обтянутая свежим тиком с белыми и синими полосками, и светлая гостиная, в которой перед камином стоял экран с вышитыми гарусом пастухом и пастушкой. Когда мы приехали в Раевку, то застали молодую жену дяди в этой гостиной, и она почему-то, разговаривая с бабушкой, плакала. Затем обе они вышли на крытую галерею крыльца и уселись в ее глубине, а няня увела меня от них через двор за ворота. В задней стороне двора виднелись белые новые конюшни. Там суетились мужики, и все почему-то смотрели в ту сторону, словно оттуда чего-то ожидали. Но мы вышли с няней за ворота и пошли к реке Донцу. И я живо помню при свете жаркого солнца белые пятна пены на тихой воде в том месте, где, как мне объяснила няня, мыли лошадей. Мне рассказывали, что дядю все время ищут вдоль реки и на том берегу, потому что он будто бы заблудился именно где-то в этих местах.

Наконец со стороны конюшен разнеслась весть, что дядя убит, что тело его сейчас нашли в Донце и что кучер Платон сознался в убийстве. Он говорил, что убил барина в эту ночь, когда тот, застав его в пьяном виде, приколотил его. Платон рассказывал, что ударил дядю в висок, а когда дядя упал, то он сильно испугался; когда же увидел, что дядя умер, то опять-таки со страху привязал ему камень на шею и бросил тело в Донец.

Бабушка со мной и неожиданной вдовой поспешила уехать к моей тетке в Луганск, за пятнадцать верст от Раевки. В карете вдова все время рыдала. Помню, что мы подъезжали к Луганску мимо каких-то садов. Погода испортилась; ветер трепал и пригибал деревья – и на стеклах кареты показались мелкие, редкие брызги дождя.

По приезде в Луганск вдова тотчас же легла у тетки за ширмы. Она, не переставая, мычала от иссякших слез и ни с кем не разговаривала. Все были поражены, приходили в ужас, горевали и шептались… Большинство повторяло одну и ту же мысль, что «Родя на свою погибель построил себе новые конюшни, в которых и был убит». Я с трепетом ожидал: доведется ли мне увидеть дядю Родю таким, каков он теперь и каким его видят разные мужики, оставшиеся возле него в Раевке? Я думал: что с ним теперь? Что от него осталось?

Прошло несколько дней в общей подавляющей грусти. В моей голове все время торчала Раевка с ее двором и с моим высоким

исчезнувшим дядею. Я постоянно смотрел в ту сторону небес, где была эта деревня, и мне казалось, что оттуда расползлось что-то страшное и широкое, покрывшее собою, как тучею, всю нашу жизнь.

Вскоре все родные направились к нам, в Веселую Гору. Туда привезли дядю. Я видел его закрытый длинный розовый гроб, поставленный на двух голубых табуретах внутри нашей часовни, где происходило отпевание. Пол в часовне был песчаный; на задней стене был нарисован Господь Вседержитель, молодой, светлокудрый, в короне, с державой и скипетром, среди нежно-голубого неба. Все были одеты в черном, стояли на коленях, горько плакали и били поклоны. Священник поминал «убиенного Родиона»… Я смотрел сквозь дым ладана на гроб, и мое воображение отказывалось постигнуть, что в нем заключалось: дух? мертвец? дядя? Может быть, ничего, кроме памяти о дяде? Может быть – нечто нестерпимое для глаза?.. Тайна делалась для меня все более и более глубокою… Я представлял себе мертвеца не человеком, а спящим духом, перед которым уже раскрылась будущая жизнь. Мне думалось, что даже те, которым случается смотреть на мертвеца, не могут вполне его видеть; я воображал себе его чем-то вроде продолговатого светящегося облака, у которого нет видимых границ. Так я фантазировал.

Но первых мертвецов я увидел (хотя бы издали) лишь тогда, когда уже меня взяли из деревни и привезли в Екатеринослав, в мою семью. Мне тогда шел девятый год. Наша квартира находилась в нижнем этаже, на перекрестке двух улиц, из которых одна поднималась на кладбищенскую гору. На юге несут и перевозят покойников в открытых гробах. Часто случалось, что на звуки церковного пения домашние сбегались к окнам. Тогда я видел, как среди толпы колебался длинный плоский ящик, суженный книзу. В верхней части этого ящика лежала непривычно бледная, желто-серая и какая-то скверная голова… Я боялся присматриваться… Мне казалось, что мимо меня проходит самая страшная тайна мира. Другие, по-видимому, не испытывали моего страха: братья всползали на окна и спокойно рассматривали шествие; отец стоял позади, заложив руки за спину; прислуга с любопытством вытягивала головы, и только все набожно крестились, когда показывался покойник. А мне представлялся дом, откуда вынесли этого, так недавно жившего человека. Я воображал себе, что чувствовали его близкие. Неужели этот ужас заглянет когда-нибудь и к нам?..

Те же процессии попадались мне и на улице. Сердце сжималось; я не знал, куда деть глаза. Те же безотрадные напевы, но более явственные, не заглушённые окнами, терзали мой слух;

толпа мерно проходила мимо; я слышал рядом с собою топот ее ног и углом своего глаза видел хоругви, перевязанные полотенцами. Я издали рассчитывал, как бы пониже опустить голову, чтобы не оглянуться на покойника, и каждый раз невольно оборачивался в его сторону. И каждый раз я видел сухое и острое лицо, как бы выставленное на суд распростертых над ним небес…

Живешь, бывало, так просто, удобно, будто иначе и быть не может, будто все вокруг понятно, интересно, разумно. И вдруг… звон о покойнике!.. значит: кто-то сейчас умер!.. Или: в каком-нибудь низеньком домике, днем – три больших церковных свечи в угловой комнате, значит: там лежит мертвый! И все окружающее становилось для меня странным, случайным, горестным. Я переносился мыслью в неизвестную мне семью, где переживалось это несчастье, и никакие развлечения в нашей собственной семье не могли разогнать того холодного спазма, который охватывал мое сердце. Это настроение длилось до трех дней, когда я знал, что покойника наконец унесли и что все идет по-прежнему.

Однажды у нас кто-то сказал: «Василевская умерла». Это была старая дама, которую я видел всего два раза. И вот я несколько суток подряд страдал из-за этой Василевской, сосредоточенный над нею одной в целом мире! Я постоянно думал о ее смерти, как за нее, так и за всех живых… Я углублялся в эту Василевскую до бесконечности!.. Я чуть не разболелся. Бодрость возвратилась ко мне лишь тогда, когда я узнал, что ее похоронили. «Теперь, – думалось мне, – с нею все кончилось, как следует, и страдать о ней больше не нужно». Это было тогда, когда мы уже не жили на углу той улицы, которая поднималась к кладбищу, а наняли квартиру на бульваре, в отдельном доме, с девятью окнами и мезонином, с зелеными ставнями в виде жалюзи и с желтою крышею. На мезонине был балкончик. Из-за дома виднелись деревья сада.

II

Сестра моя Маша была двумя годами старше меня. Меня привезли в мою семью на девятом году из деревни. Из полного одиночества я попал в общество трех братьев и сестры. Все они мне казались любопытными, чужими и в то же время как-то законно близкими. Но я наблюдал их немножко как посторонний. Сестра Маша имела отдельное помещение. Чувствовалось, что она совсем особенная. У нее были калмыцкие глазки, черные, как смоль, волосы, и необыкновенно белая, нежная кожа. Обособленная от других, она вырастала в невольной мечтательности. Она любила мифологию, и когда ей случалось присоединяться к нашим играм, она предлагала «играть в богов». Накидывая на голову свой теплый стеганный халатик, она бегала по комнатам, говоря, что она «несется в облаке»… Надо было выжидать, к кому из нас она спустится. И вот когда она спускалась ко мне и на каком-нибудь кресле окутывала меня всего с головою своим халатиком, я чувствовал в потемках, в ее близости, невольное биение сердца.

На четырнадцатом году жизни я весь отдался чтению поэтов; везде я встречал любовь как самое глубокое и сильное явление жизни. Женщина облекалась для меня в нечто непередаваемо привлекательное. Когда я учился истории, я не постигал, как можно было поступать жестоко с женщинами: все они казались мне носящими в себе необъяснимую прелесть и счастье. В книгах, которыми я увлекался, всегда говорилось о любви, как о чем-то важном, решающем судьбу целой жизни. Я думал, что я буду ничтожным, пока не испытаю любви. Кто же вызовет во мне любовь? Кто придаст моей жизни значение чего-то священного, глубокого и важного? Кто заставит меня испытать это великое чувство?

Вспоминая те особенные ощущения, которые меня охватывали вблизи Маши, я решил, что я давно уже, незаметно для себя, люблю ее. Эта мысль мне пришла в голову однажды днем, когда я после какого-то чтения прилег на свою кровать в большой комнате мезонина, где мы, четыре мальчика, имели свою классную и дортуар. Чтобы проверить себя, я задумал пойти вниз и посмотреть на Машу. Я нашел ее в гостиной, за книгой, в темно-синем длинном платье на вате. Это было зимой. Она меня не заметила. Я присел и начал ее рассматривать. Ее лицо было неинтересно в эту минуту: она углубилась в книгу, ее черты вытянулись. Она была совсем взрослою; на вид ей можно было дать около двадцати лет. Ее бюст казался совсем дамским. «И я ее

люблю, – повторял я себе, – и она этого не знает!». И с этого мгновения совершенно особенное чувство к Маше окончательно завладело мною. Я начал придавать себе значение глубоко страдающего и никем не понятого человека. Мои думы постоянно возвращались к Маше. Мне было странно смотреть на нее и сознавать, что она совсем не подозревает того, что происходит во мне. Почему-то мне нравилось как можно больше удаляться от нее. Мне казалось, что она почувствует наконец когда-нибудь, насколько я постоянно наполнен ею, и что ей будет поневоле все чаще и чаще недоставать моего присутствия. Подражая Байрону и Лермонтову, я находил особенное счастье в этой непонятной, гордой, замкнутой и горькой любви. Обращение мое с Машей, незаметно для меня самого, резко переменилось. Я старался говорить другим в ее присутствии, как будто не обращая на нее внимания, смешные, колкие, оригинальные вещи. Я «коварно кокетничал»; я чувствовал, что я интересничаю и достигаю цели. Маша смеялась, увлекалась моими шутками и – я это видел – находила удовольствие в моем обществе. Тогда я удваивал часы моего отсутствия. Маша полюбила мои мнения, мою наблюдательность. В прогулках и развлечениях она предпочитала мое общество обществу остальных братьев. Сколько мог, я избегал быть ее спутником и тем самым терзал и себя, и ее. Рядом с этим я ценил на вес золота каждую ее нежность. Я завел дневник (потому что только теперь нашел свою жизнь достойною внимания) и в нем отмечал каждое «mon cher»[2], которое она мне говорила. Она мне говорила «mon cher» гораздо реже и совсем иначе, нежели другим братьям, – как-то тише, будто незаметно. Я радовался, что ей понемногу сообщается некоторая неловкость в обращении со мною, – и я чем чаще отсутствовал, тем больше замыкался в себя, чтобы не выдать как-нибудь своей «роковой» тайны. Мне хотелось, чтобы она меня полюбила и в то же время видела, как я далек от нее и недостижим. В мою голову засел пушкинский стих: «Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей». Лермонтовская жестокость к женщинам, как рецепт для победы, тоже подстрекала меня к этой искусственной холодности. Мое обожание возрастало вместе с напускным равнодушием. Мне мечталось о такой невозможной минуте, когда бы Маша вдруг услышала мое признание. И я упивался самою невозможностью подобной сцены… Я набрасывал стихи в своем дневнике. Помню выстраданное двустишие:

Закон, взаимность – все восстало,
Чтоб ты моею не была!

Для меня было ясно, что эта любовь зародилась при неодолимых препятствиях жизни.

Маше давала уроки английского языка единственная в городе англичанка, маленькая и красная старая дева, с пробором и рыжими локонами в виде сосисок вокруг всей головы. Приходя на урок, она вся блестела испариной и уморительно потрясала своими локонами. Тонкая золотая цепочка с часами под мысом украшала ее корсаж. Они запирались с Машей на час. У Маши завелись английские книги; она переписывала в тетрадки с линейками английские стихи. Почерк у нее был тонкий, чистый, изящный и безукоризненно правильный. Она носилась с Байроном in folio и затвердила его стихотворения «Прощай» и «Слеза» («Farewell», «A Tear») – ее любимые. Очень быстро она овладела языком и углубилась в английскую литературу. Англичанка была уже не нужна. Почему-то было решено, что Маша должна учить меня по-английски. Я приходил по вечерам в ее особый уголок, состоявший из двух комнаток – уборной и спальной, и там я ей отвечал уроки, а потом принимался за чтение вслух, и она меня поправляла, когда я не умел произносить какое-нибудь слово. Наши головы соприкасались под лампой; наши руки лежали рядом на странице, когда мы вместе следили за строчками. Однажды вечером, когда ее белая ручка, сжатая кулачком, с напряженными голубыми жилками и черным эмалевым колечком, лежала на книге перед самыми моими губами, я вдруг будто задохнулся и едва заметно, точно во сне, приник губами на одно неуловимое мгновение к этой руке; почти столь же мгновенно и, главное, в ту же секунду Маша, как мне помнится, очень горячо и так же неуловимо поцеловала мою руку. Между нами не было сказано ни одного слова, урок закончился как всегда без перерыва, и я всю ночь и весь следующий день мучился сомнением, случилось это или нет. Небывалый огонь горел во мне, и я без устали сосредоточивал всю свою память на этом странном, точно виденном во сне, мгновении. Мне казалось, что теперь именно, более чем когда бы то ни было, нужно не показывать даже вида, что это могло случиться. Как бы по безмолвному соглашению и Маша держалась точно так же. В течение следующих уроков о случившемся не было и помину. Мы с ней будто условились доказать друг другу, что этого и быть не могло. Но странность взаимных чувств увеличилась.

Весенние и летние месяцы этого года были для меня самыми влюбленными. Как я теперь понимаю, во мне говорила, по выражению Пушкина, «страстей неопытная сила». Воображение мое было чисто и невинно. Мое чувство обратилось к Маше потому, что она казалась мне сродственною по уму, что она была

мне близка по мысли, что она угадывала мой ум и мою натуру. Безмолвие по главному вопросу между нами никогда не нарушалось.

По вечерам нам, детям, подавали четырехместную коляску, и нам дозволялось кататься по улицам города. Маша с тремя братьями садилась внутри, а я взбирался на козлы: там я был дальше от общей компании и потому интереснее. Оттуда, изредка, я оборачивался к остальным и говорил что-нибудь неожиданное и оригинальное из своих случайных мыслей, и затем быстро застывал в своем одиночестве возле кучера. Бульвары с тополями проносились мимо меня; земля бежала под колесами: колокольни храмов поднимались в разных концах города к тихому вечернему небу. Я кокетничал и страдал – и наслаждался. По возвращении я видел, как Маша, нехотя и скучая, уходила на свою половину…

И я, и Маша были религиозны. Я имел в сердце веру в того самого христианского Бога, Сын которого страдал на кресте и которому воздвигались храмы. Я любил архиерейское служение; я шел к обедне, как на беседу с небом; царственный блеск архиерейских одежд напоминал мне «Вседержителя» на иконах. Я с первых дней был правдив и доверчив: я не понимал никогда цели какого бы то ни было обмана и потому всегда верил. Собор на горе с бархатным троном архиерея посредине, архиерейский дом в саду, за горою, в долине, – все это мне казалось чудесным, волшебным, божественным. Случалось мне ездить с Машей, в сопровождении кого-нибудь из братьев, в архиерейский сад. Солнце садилось, кусты золотились, Маша ходила по дорожкам, небо вверху синело… я запоминал каждое ее движение, каждый поворот, каждое слово.

Как-то вечером она сидела у раскрытого окна на подоконнике. Она была в бледно-желтом кисейном платье с разрезными греческими рукавами. Большая, раскрытая книга Байрона лежала у нее на коленях. На обнаженных руках, упавших на книгу, чернели широкие браслеты из блестящего угля (жэ), только что входившего тогда в моду. Легкий пушок оттенял белизну этих юных и грациозных девственных рук. Был тихий летний вечер; пыль держалась в жарком и золотом воздухе; утомленные и посеревшие тополи были неподвижны. Не помню я, чтобы Маша когда-нибудь раньше или после была милее! Ее смолистые косы были туго заплетены двумя фестонами, ниспадавшими ниже ушей и соединявшимися сзади под широкими черными бантами. Я стоял возле нее, имея рассеянный вид и тупо глядя на улицу. И я сознавал, что возле этого привлекательного, женственного существа небывалым счастьем

бьется мое сердце…

Эти минуты, проведенные с Машей у окна, как и то мгновение, когда я поцеловал ее руку за уроком английского языка, остались неизгладимыми в моей памяти. С того далекого времени на всю остальную жизнь я сохранил особое пристрастие к прелести женской руки.

Лето проходило в тех же неопределенных чувствах радости и страдания. Я любовался Машей и сам не знал, чего я желаю, и знал, что она никогда не услышит моих признаний и что она обречена кому-то другому. Я не понимал ревности и покорялся судьбе. Одно казалось: что никто другой не сумеет испытать моего счастия, потому что никто другой не найдет в Маше тех радостей, какие нашел бы я. Это была какая-то счастливая, неопределенная и тупая печаль. Время проходило в неуловимых грезах. И, право, я едва ли бы сумел вспомнить что-нибудь ясное из этих туманных дней. Вспоминаю, например, одно воскресное утро. Маша перешла из своих двух комнат, выходивших во двор, в угловую зеленую комнату, где у нее был и письменный столик, и туалет, и кровать за ширмами (ее две комнаты были отведены под спальню матушки, у которой родились близнецы). Помню, что Маша перелистывала английский кипсэк с женскими типами Вальтер Скотта. Она была нарядна, весела и цветуща, и я ей говорил что-то забавное по поводу каждой женской головки. В ее комнатке было светло, весело и благоуханно… Дверь была притворена. В открытое окно влетал мягкий и теплый воздух. Вдруг ударил оглушительный гром из солнечного неба. Мы закрыли окно – и воздух потемнел, и я вышел… И это утро почему-то осталось у меня в памяти. Мне было так хорошо возле умной, свежей и привлекательной Маши.

А вот еще воспоминание. Я сидел как-то днем один, на маленьком балкончике нашего мезонина, с какой-то книгой, кажется сказками Гофмана или «Записками охотника» Тургенева. Мысль моя была ленива; печатный шрифт лежал тонкой сеткой перед моими глазами под сильным и расслабляющим светом летнего солнца. Невольно отрывался я от книги и смотрел то вниз, на пустую пыльную улицу, то на жидкую чугунную решетку нашего балкончика с двумя гвоздями, торчавшими по ее углам для острастки птиц. Возле моего стула стоял другой пустой стул. Наверху никого не было; дверь в комнаты была открыта. Не знаю, как и зачем на балкон вбежала Маша с вопросом или предложением ко мне. Отчетливо вижу, что она была в сером барежевом платье с декольтированным лифом, который закрывался хорошенькой пелериной из той же материи с маленькой оборкой. Набежавший ли ветер или быстрота ее

движения распахнули пелеринку – не могу сказать, но ее плечи и начало груди вдруг раскрылись; помню крошечное розовое пятнышко на молочно-белой коже; помню, что она положила мои руки на плечи, и я, задыхаясь, поцеловал ее под пелеринкой, в горячую шею, и слышал стук ее сердца… и кажется мне, что это мгновение было еще короче, еще более похожим на сновидение, чем то, когда я коснулся губами ее руки. Но память упорно настаивает на своем, что все это несомненно было. Это был мой последний «безумный» поцелуй.

Безотчетное (хотя, как мне тогда казалось, глубокое) чувство неприметно начало сбиваться на нечто слишком безнадежное и утомительное. К осени Маша совсем выросла. В будущем «сезоне» она должна была выезжать. Наша матушка, любя в ней свою единственную дочь, замышляла сделать из нее совершенство. Маша была умна, образованна, обучена порядку; она вела счета по хозяйству своим прелестным почерком в графленых тетрадках; она была чиста, аккуратна, идеальна, грациозна; книги обогатили ее воображение; из нее готовилась очаровательная «жена». Она все более и более принимала вид большой девицы, и мое отроческое сердце неприметно начало причислять ее ко взрослым. Зимою она участвовала в любительских спектаклях, в живых картинах, знакомилась с женихами тогдашнего лучшего губернского общества, и у нас начали поговаривать о ее увлечении одним господином средних лет из богатых и спокойных помещиков, во вкусе английских лордов. Другой молодой дворянин из семейства, издавна связанного дружеским знакомством с нашим домом, увлекался ею. И вот я с неопределенною усталостью начал «предаваться своей судьбе». К тому же и Маша не то что подурнела, но испортила себя тем, что начала преувеличенно заниматься собою. Прежняя простая прическа заменилась сложным завиванием волос на всей передней части головы. Маша начала необычайно холить свои руки и для этого почти всегда дома, когда не было гостей, ходила в перчатках. Она прибегала к пудре и губной помаде. И несмотря на все это, я видел, что Маша, формируясь во взрослую барышню, теряет прежнюю миловидность. Моя страсть к Маше, постоянно сдерживаемая мучительным отчуждением от нее, теперь начала давать на моем сердце горький осадок. Теперь уже мне было легко отчуждаться от Маши, и наши отношения приняли характер ссоры, необъяснимой для окружающих. Мы с ней совсем перестали говорить друг с другом. И когда однажды, за обедом, при отце и матери, выяснилось, что мы с Машей уже два месяца не обменялись ни одним словом, – отец улыбнулся, находя это, конечно, пустяком, но главное, что ни я, ни Маша не смутились:

мы оба почувствовали, что в нашем разрыве нет ни резкости, ни страдания, ни комизма и что все это случилось натурально, само собою. Так прошла вся зима.

Весною, Великим постом, представился неизбежный случай прекратить это натянутое молчание. Мы говели. Перед исповедью мне нужно было подойти к Маше и попросить у нее прощения. Был светлый мартовский вечер. Я пошел к Маше спокойно, с сознанием долга. Она была в эту минуту в зале, в легкой ситцевой блузе с шлейфом. Она меня встретила на ходу. Я пересек ей дорогу, очутился с ней лицом к лицу и тихо пробормотал: «Прости меня, Маша»… Она меня по-братски поцеловала в губы и с простым, добрым чувством сказала: «Бог простит». Сердце мое слабо екнуло; это был первый и единственный поцелуй в губы. На меня повеяло запахом пудры от ее лица и обдало теплотой этого все-таки нежного поцелуя. На Пасхе между нами установились дружеские, ласковые отношения с примесью какого-то милого, невысказанного чувства, которое походило на радость выздоровления от общей болезни. Здесь была и нежность, и великодушие, и взаимная любезность, без раздора и без тревоги.

В июне все мои братья заболели коклюшем. У меня был коклюш в очень раннем детстве, когда я еще жил в деревне, и я один уцелел. Под конец заразилась и Маша. В ее годы (в середине лета ей исполнилось семнадцать лет) болезнь эта бывает и трудною, и опасною. Стояли сильные жары. Доктор приказывал, чтобы заболевшие как можно больше оставались на воздухе. Маша почти целые дни сидела или на выступах нашего крыльца, выходившего во двор, или, в самую знойную пору дня, где-нибудь на скамейке в саду. Шея была у нее постоянно обвязана полотняным платочком; ее кашель с завываниями длился надрывающими ухо припадками. Она не одевалась и не покидала серенькой ситцевой блузы. По вечерам, все с тем же платочком на шее, набросив черную накидку, она ездила с кем-нибудь – большею частью с матерью – покататься в коляске. Ее лицо опухло и пожелтело; небывало равнодушные глаза смотрели однообразно: выражение больной скуки не покидало их. Она почти не разговаривала и часто засыпала днем, в разных уголках дома, с выражением удвоенной скуки на опухшем лице, с зажмуренными глазами и вытянувшимися губами. Просыпаясь, она не имела ободренного вида и бродила ленивой походкой с места на место, как бы отчужденная от всех. При ней всегда находилась какая-нибудь святая книга: или маленький молитвенник в полинялом шелковом переплете, или «Житие святых отцов», или (особенно часто) книга с изображениями и

описаниями всех чудотворных икон Божией Матери: в тексте этой книги постоянно попадались страницы, разделенные на множество четырехугольников, в которых были отпечатаны всевозможные иконы Богородицы, с младенцем Иисусом на одной руке или на середине груди, с крестом в отдалении, с поднятыми или сложенными руками, изображения «Троеручиц», «Неопалимой купины» и т. д. Горячее желтое солнце светило на эти черные оттиски церковной живописи; раскрытая книга лежала на коленях сгорбившейся Маши, в то время как она или безучастно смотрела по сторонам, или с тупым упорством, без мысли в чертах обрюзглого лица, углублялась в книгу, или вдруг надолго закашливалась с теми же судорожными сотрясениями всего тела и выступающими на глазах слезами и проделывала весь припадок с привычною покорностью, как будто ей суждено это впредь навсегда, и никогда иначе не будет. Прошло уже четыре недели, а кашель не делался легче и короче, как это было у братьев по мере выздоровления. Впрочем, опасения за Машино здоровье не существовало: она была на ногах и выезжала кататься; погода держалась летняя, а коклюш, как известно, излечивается сам собою на хорошем воздухе. Но ее душевное состояние производило какое-то неприятное, необыкновенное впечатление. Чувствовалось нечто труднопоправимое в этой новой Маше, которая как-то досадно упорствовала в том, чтобы уже никогда более не походить на прежнюю. Казалось, что можно было и кашлять, и желтеть, но не следовало держать себя такою молчаливою, не следовало иметь это выражение лица, которое будто не позволяло обращаться с Машей как всегда и не давало надежды заинтересовать ее каким-нибудь обыкновенным разговором или вовлечь ее в наши повседневные интересы. Казалось, что Маше тем более было легко это сделать, что ведь она и ходила, и гуляла, и брала с собой книги и т. д. И однако чувствовалось, что это невозможно.

Возвратившись однажды вечером с загородного катанья с Машей, матушка имела разговор с отцом и – как я подслушал – долго ходила взад и вперед в притворенной комнате, о чем-то рассуждая и доказывая, что «Маша – странная», что, вероятно, она начиталась разных книг и впала в мрачную философию. Я отнесся довольно вяло к этому тревожному разговору, хотя мне и думалось, что теперь уже Машу трудно переделать и что уже так идут сами по себе события жизни.

На следующий день, когда мы все уже давно встали, ставни в Машиной комнате долго не отворялись. Было уже одиннадцать часов. Я бегал в саду и по двору и наконец направился в комнаты по черному крыльцу. Войдя, я застал суету, и кто-то мне сказал,

что «Маша сошла с ума и вообразила себя Богородицей, и сейчас испугала маму, объявив ей, что она не ее дочь и что она – святая». Я видел на всех лицах тревогу, но ничего не понимал и не верил разговорам. Со страхом смотрел я на притворенную дверь в темную зеленую комнату Маши. Я ставил себя на ее место и не мог вообразить себе ее сумасшествия, и тем более устрашился того, о чем говорили. Я не смел переступить порога ее спальни, убежденный, что совершается нечто слишком для меня непостижимое, от чего у меня мутилось в голове и подкашивались ноги. Мне думалось, что в этой темной комнате с притворенною дверью непременно присутствует сверхъестественная сила, которая овладела Машей и не позволяет ей понимать все то, что нам понятно. Я боялся поддаться влиянию этой самой силы, потому что сердцем своим был близок к Маше и не допускал, чтобы между нами образовалась такая бездна. Мне все казалось, что Машу можно убедить в неестественности ее мыслей, а если нельзя, то это уже нечто волшебное и ужасное. Один из братьев подвел меня к двери и сказал: «Послушай». Оттуда слышался торопливый голос Маши: доходили слова, но понять их было невозможно. Такого сочетания бессмысленных слов я еще никогда не слыхал. «Это – вмешательство свыше, – думалось мне, – это – Бог, это – сходит с небес, из непонятного нам мира». Мне представлялось чудо во всем его устрашающем величии. Машино «сумасшествие», как у нас его называли, началось с ненависти к матери: она не могла ее видеть и отгоняла от себя. Матушка была в отчаянии и не смела входить в комнату больной. Я старался как-нибудь объяснить себе эту ненависть; уж не мстила ли кроткая, добрая Маша матери за то, что та добивалась от нее совершенства, смутила ее голову недостижимыми идеалами, затуманила ее воображение религиозностью и романтизмом? Мне хотелось найти какое-нибудь разумное объяснение этому перевороту. Я говорил себе, что Маша могла на время вообразить себя Богородицей, насмотревшись в своей болезни на постоянно мелькавшие перед ней святые картины с изображением Божией Матери во всех видах. Я думал, что это пройдет. Из долетавших до меня звуков Машиной речи я различал один, резко выделявшийся возглас: «Тряси-тряси, Вера-а». Она очень часто возвращалась к этому нелепому восклицанию с протяжным окончанием, точно оно ей особенно нравилось или как-то удачно выражало ее мысль. И так как «Вера» было имя матери, то я старался подыскать какой-нибудь смысл и для этой непостижимой прихоти ее языка. Мне слышался в этом Машин упрек матери за предъявленные к ней невыполнимые требования совершенства. Однако этот возглас

возвращался так случайно, так часто и делался таким бессмысленным голосом, что мои уши и мое сердце не переставали страдать.

Доктор определил «горячку». Это был наш домашний доктор, инспектор врачебной управы, умный и опытный малоросс, в чистеньком вицмундире, с тонкими чертами лица, побитого оспой, с бритыми губами, стриженной головой и бакенбардами с проседью. Сутуловатый, с мягким голосом, спокойными манерами и юмористической улыбкой (когда он был в духе), доктор этот знал каждого из нас насквозь и казался мне таинственно глубоким человеком. Он всегда ездил в узких дрожках с поднятым верхом, на белой лошади, и носил шинель пушкинского покроя, с пелериной и с бархатным воротником. С первого же дня Машиной болезни докторские дрожки с белою лошадью по два, по три раза в день стояли в нашем дворе со стороны парадного подъезда. Положение больной, видимо, становилось опасным.

Мне особенно памятны первые трое суток.

Маша говорила не умолкая. Вечером первого дня, точно так же, как и утром, из комнатки доносилась все та же торопливая, неукротимая речь. Повторялся иногда и возглас: «Тряси-тряси, Вера-а-а», хотя более равнодушным и утомленным голосом. Этот день будто и меня самого свел с ума. Я не мог обедать, да и все другие пообедали не вовремя, неохотно и не в столовой, а в другой комнате, подальше от Маши. В обычное время я пробовал лечь в кровать, но мне не хотелось раздеваться. Я заснул на какой-нибудь час и очнулся очень быстро, и тотчас встал. Везде было темно, все спали. Я добрался ощупью до лестницы, спустился вниз и увидел слабый свет свечи в столовой, смежной с Машиной комнатой. Направляясь к этому свету и не слыша никаких звуков, я надеялся, что наконец теперь и Маша замолкла и что, заснув, она завтра же оправится. Все было тихо. Я уже вошел в столовую, и ничего не было слышно; я был уже готов пойти обратно, раздеться и заснуть, как в этой тишине до меня явственно дошли все те же, не смолкающие ни на секунду, Машины разговоры. Они были тем ужаснее, что уже никто более их не слушал. Через мгновение раздалось громкое восклицание: «Тряси-тряси, Вера-а-а». Минуту спустя из этого одинокого, невероятно утомительного шепота вырвалась и еще одна громкая фраза, из трех или четырех любимых и одинаково бессмысленных, которые Маша выкрикивала особенно явственно. Я стоял перед нагоревшею свечою, опустив голову, с холодеющим сердцем. Я не смел взойти к больной, не знал, чем ей помочь, и мечтал, как о невозможном счастье, чтобы эти мучительные звуки

когда-нибудь наконец могли замолкнуть. Возвратившись наверх, я опять лег, не раздеваясь, и весь холодел, и с напряжением думал о Маше, и по временам дремал беспокойной дремотой.

Перед самым утром я, вероятно, заснул так же глубоко, как и все остальные. По крайней мере, мои раскрытые глаза встретили уже вполне наступивший серый день, и все братья были уже одеты. Так как и я был одет, то я ни в чем не отстал от прочих. Мы все вместе сошли вниз.

Сердце уже перестало подсказывать мне надежду. В нем установилось тупое чувство горя. Когда, спускаясь с лестницы, я следовал за братьями, их спины, их головы, звук их шагов, близость этих здоровых тел придавали мне силу; голова моя была тяжела, в груди холодела какая-то застывшая тревога, но после отдыха, в обществе братьев, я начинал день с невольным приспособлением к тому, что уже произошло и что будет дальше. Мы пришли в столовую; чашки были на столе, на привычных местах, для каждого из нас на своем конце стола. Мы садились. Тот же Машин говор продолжался из ее спальни… Эти звуки отозвались во мне легким, уже привычным холодением сердца. Я заметил, как и другие огорчались тем, о чем я знал еще ночью, – т. е. что с Машей продолжается то же самое и что вчерашнее горе ни в чем не изменилось.

Начинались дни смутные, непостижимые, чем-то до безумия отравленные, ни в чем не похожие на прежнюю жизнь, и вместе с тем – являлось покорное сознание, что теперь уже ни на минуту нельзя быть веселым и спокойным. Первая попытка продолжать жизнь по-прежнему, сделанная в начале второго дня Машиной болезни, – намерение пить чай и обедать как всегда в столовой, – все это сразу оказалось невозможным. Пришлось очистить столовую и совсем унести стол в далекий конец квартиры. Трое суток без перерыва, днем и ночью, Маша разговаривала своим обезумевшим, неумолимым языком… Ставя себя на ее место, я никак не мог постигнуть происходившего с ней. Моего воображения не хватило на то, чтобы найти в себе самом силу и возможность проделывать то, что происходило с глубоко несчастной и беспомощной Машей… Все в доме отупели. Свобода от занятий, отсутствие надзора не только нас, детей, не радовали, но делали нас несчастными, молчаливыми, не способными играть или говорить друг с другом, и все мы, шатаясь в разных углах дома и двора, находились под одним и тем же страшным и неотвратимым давлением того несчастия, которое совершилось и продолжалось в Машиной комнате.

На третий день Маша наконец примолкла. День был теплый, пасмурный; по небу ходили тучи. Всем нам почему-то стало

немного легче. К вечеру был назначен «консилиум». Я впервые услыхал это слово и чего-то ждал от этого необыкновенного обряда. После обеда наш доктор привез с собою еще другого. Оба они входили к Маше и о чем-то расспрашивали ее, но ее ответов не было слышно. И я радовался уже тому, что Маша, слава богу, не намерена больше говорить. В сумерках, при свечах, появилась в столовой какая-то машинка, вроде кофейника, привезенная докторами. В ней нагревали простую воду и из нее через тонкую трубочку белой струей выбивался пар. Говорили, что Машу заставят дышать этими парами. Мне казалось, что это чрезвычайно важно, что Маше именно необходимо теперь смягчить неимоверно уставшую грудь, и что эта машинка, никогда мною не виданная, была уже давно выдумана для таких именно ужасных случаев, и что, слава богу, наконец догадались привезти к нам эту машинку, чтобы облегчить наши измученные до невозможности сердца. И, кажется, все мы впервые в эту ночь заснули довольно мирно.

В следующие дни (не помню, сколько их было) явилась другая тревога, а именно: несмотря на то что Маша затихла, сознание к ней не возвращалось. Она ничего не ела; вернулся кашель, но не коклюшный, а другой – более короткий. Доктора нашли, что у нее воспаление легких. В комнату к ней нас не впускали с самого начала болезни. В нашем беспорядочном, молчаливом и унылом доме совсем исчезла обычная жизнь. Комнаты стояли пустые; семья не соединялась; все прятались друг от друга. Невольным центром всех мыслей сделалась Машина спальня, с вечно притворенною коричневою крашеною дверкой, за которою на своей кровати, у стенки, лежала Маша.

Начиналась теплая осень. Большую часть времени я ходил до устали по аллеям нашего опустелого сада. Он заканчивался частоколом под горою, ведущею на кладбище. Из-за этой горы всходило солнце; на этой горе, как мне думалось, таился переход в будущую жизнь: находились мертвые, призванные к Богу. Я не верил в Машину смерть; в сознательные годы я еще не испытал ни одной утраты. Но мне казалось, что Иисус Христос, с его длинными, вьющимися волосами и его грустным, глубоким и любящим взглядом, находился где-то в очень страшной близости возле Маши и что влияние Его таинственной власти будто коснулось нашего дома. Мне думалось, что Он один очень хорошо знал, что, собственно, у нас происходило, но что Он непонятным для меня образом доволен тем, что случается, и что Он все более и более завладевает Машей. И мне почему-то было все-таки очень грустно и страшно за Машу.

Никто, кроме меня, не наведывался в сад. Первые сухие

листья падали с деревьев. Дневной свет был тих и задумчив; под моими ногами часто хрустели мертвые ветки. Я все думал о Маше и чувствовал, что моя мысль не достигает до нее и никогда уже не сможет до нее достигнуть в живом слове, потому что она ничего нашего не понимает и знать не хочет…

Однако выдался один день, когда разнеслась весть, что Маше гораздо лучше и что к ней можно входить. Я выждал, когда у нее перебывали уже другие, и, видя у всех успокоенные лица, вошел наконец и сам среди дня в Машину комнатку.

Переступив порог, я заметил, что наша старая няня что-то привязывает к телу больной, под ее рубашкой. Одеяло было откинуто; что-то бледное мелькнуло в моих глазах… Я приостановился и опустил глаза… Маша слабо, как-то механически, стонала. Няня спросила: «Теперь хорошо?» – Маша сказала: «Хорошо», и у меня сразу проступили слезы радости от этого простого, осмысленного ответа. Няня меня подозвала: «Пожалуйте». В комнате, остававшейся постоянно с закрытыми ставнями, было теперь светло; ширмочка была почти совсем отодвинута от кровати и сложена; одеяло, подоткнутое под тюфяк, плоско и аккуратно покрывало Машу по грудь. Лицо, на первый взгляд, будто не особенно изменилось; но Маша не повернулась ко мне и смотрела вверх. Я присел на кровать, чувствуя за собой право заговорить с Машей по-прежнему. Когда наши взоры встретились, я увидел в ее глазах небывалую прозрачность, какую-то стеклянную пустоту, которая меня кольнула в сердце. Я все-таки заговорил спокойным и ласковым голосом о том, что меня радовало, т. е. о ее близком выздоровлении, – о том, что теперь она начнет поправляться, что после болезни она похорошеет и что всем нам будет весело.

Меня поразило, что Маша всем этим очень мало интересовалась. Правда, она отвечала впопад, ничего непонятного не говорила, но все, что я в ней наблюдал, и все, что от нее слышал, казалось мне мучительно странным. На мои предсказания скорого выздоровления она как-то рассеянно ответила: «Да, да, мне хорошо», и сейчас же сказала, что она выходит замуж и скоро будет венчаться. И так как она высказалась об этом в связных выражениях, то я смутился и не возражал. Но радостное чувство упало в моей груди; я должен был нежно улыбаться на ее слова и решительно не знал, что мне следует делать: поддакивать ли ей или сказать, что это для меня новость и что мы ничего не знаем о ее предстоящем замужестве? Но вспомнив, что все утешились Машиным поправлением, и я слабо утешился тем, что Маша начала говорить хотя бы даже такие вещи, как теперь, т. е. что все-таки ее фантазии получили

некоторую стройность и перестали выражаться в совсем непонятном наборе слов. Но меня терзало то, что Машина душа и ее сознание оставались для меня недоступными. Она постоянно смотрела куда-то мимо меня, и ее ровный голосок во время ее разговора ни разу не отозвался во мне тою живою выразительностью, которая бы одна только и могла донести по адресу ее живые ответы на мои живые вопросы… Нет! прежняя бездна оставалась между нами. Вслед за рассказами о замужестве и свадьбе, Маша помолчала и равнодушно сказала: «Ты знаешь? Я умру, я знаю…» Тут вмешалась няня и начала сердобольно успокаивать больную. Конечно, и я сказал Маше что-то ободряющее, с той же нежной улыбкой, которая в виде гримасы оставалась во время всего свидания на моем лице; но эти ужасные и спокойные слова убили мою последнюю надежду на Машино поправление. «Она теперь совсем не та и уже никогда не будет прежней», – говорило мне мое сердце. Я видел ясно, что оставаться в комнате мне больше незачем. Я сказал: «Ну, Машенька, тебе нужен отдых после болезни. Я уйду. Я рад. Ты поправишься». Я поднялся с кровати и вышел. И Маша ничего не сказала мне вслед.

На следующий же день открылось, что в Машино поправление нельзя верить. Напротив, доктора предварили, что положение больной сделалось до крайности опасным, и тогда у нас впервые открыто заговорили в доме о возможности Машиной смерти. Эта смерть могла случиться со дня на день, в неизвестный час и минуту. Всеми овладела усталость и невольная покорность и не исчезающий ни на одно мгновенье страх на сердце. Отец почти не выходил из своего кабинета. С матушкой случилось нечто вроде истерического помешательства: она не могла говорить; ее губы сжались в судороге и, казалось, не было такой силы, которая могла бы разомкнуть ее челюсть. Глаза у нее сделались робкие и безутешные. Она не была в состоянии оставаться дольше в доме и перешла во флигель, к домовладелице, где сидела целый день в какой-нибудь комнатке, молчаливая и беспомощная. Если ей что-нибудь было нужно, она писала на бумаге. Большею частию это были справки о Машином здоровье.

Так прошло два дня. Уже не надеялись, а только спрашивали: «Ничего еще не случилось?» – и ждали. Я никак не мог себе представить, что может и что должно совершиться в минуту Машиной кончины. Я ждал чего-то необыкновенного. Я недоумевал, как и кто войдет к нам в дом, чтобы взять Машину душу из ее тела. Спустится ли Ангел? Войдет ли Христос? Почувствуем ли все мы этот приход, соединяющий всех нас с

иным существованием?

Но Машина комнатка оставалась тихою. Иногда только доносился к нам короткий звук ее кашля или слабого стона. Нянюшка, сидевшая возле нее, почти всегда отвечала одно и то же: «Почивают».

В Успенье, 15 августа, был храмовый праздник в одной из трех больших церквей нашего города. Там служил архиерей. Утро было солнечное. Все мы, мальчики, пошли к обедне. Мы и прежде в торжественные праздники всегда ходили в церковь, а теперь пошли – тем более что никому не оставалось другого дела и заботы, как только – молиться. Славный, поистине праздничный звон гудел со стороны церкви Успения. Мы шли по улицам, просыхающим от ночного дождя. На синем утреннем небе встречались редкие, клочковатые и радостно-белые облака. Мы подошли к ограде, в которой на траве кучками сидел простой народ в ярких одеждах. Ступени паперти были покрыты молящимися; толпа переходила в сплошную стену на пороге раскрытой двери храма, зиявшей темным пятном. Нас, как барчуков, кое-как пропустили, но протиснуться вперед не было никакой возможности. И мы должны были тотчас по входе в церковь свернуть влево. Мы стали перед новым и ярким образом Крещения, помещавшимся на одной из внутренних колонн. Мы уставились рядышком, притиснутые к чугунной решетке, выступившей полукругом у подножия образа. Мы не могли видеть самого служения; к нам только издали доносились слова совершающего службу и молитвенное пение хора. Плотная масса людей, чуждых нашему горю, вызывала во мне мучительное чувство невозможности понять их здоровое довольство и спокойствие. Оставалось только одно: стоять в духоте, выносить вокруг себя всех этих недоступно счастливых молящихся и смотреть перед собою на икону Крещения. Она врезалась в моей памяти навсегда; я помню ее закругленную сверху золотую раму, украшенную гроздьями и листьями винограда; вижу красную лампадку на черном железном крючке и большой серебряный ставник перед решеткой со множеством тонких восковых свечей, пылавших вокруг толстого воскового стержня, покрывая остывшими каплями воска бумажную настилку с вырезной белой бахромой по краям. Я слушал треск фитилей, следил за тем, как все эти тонкие свечки путались, наклоненные одна к другой, и слезились под косыми огнями, и таяли; я вдыхал этот жар и вглядывался в большую икону. Коричневые ноги Спасителя, погруженные в голубую воду, были окружены на икрах белым ободком расступившейся влаги. Иоанн Креститель стоял возле с своим еще более темным телом, прикрытым овечьей шкурой, и с

длинным крестом, сделанным из простых палок. Из ярко-синего неба белый голубок ниспускал светлую, книзу расширенную, полосу лучей на крещаемого. И я был занят только одним вопросом: «Что выйдет из всего этого дела для нашей бедной Маши?»…

Когда обедня кончилась, мы, выйдя на свежий воздух, почувствовали минутное облегчение, а затем, веселые и равнодушные, направились к нашему дому. Казалось, все мы теперь готовы услышать какую угодно страшную весть. Но, возвратившись, мы узнали, что ничего нового не случилось.

Так прошел этот день и еще следующий, в течение которых наша общая покинутость и уныние увеличились еще тем, что доктора уже к нам не ездили. Утром 17 августа Машина комнатка сделалась как-то для всех странно доступною. Разнеслась весть, что больная начала «отходить». Дом стоял пустой, точно все куда-то убежали. Никто не подходил к Машиной двери, несмотря на то, что никаких запретов уже не было. Казалось, никакие заботы уже не помогут, да и не нужны Маше. И вот я направился туда, без всякого трепета, покорный общему настроению; пошел заглянуть туда, как я пошел бы во всякое другое пустое место. Комнатка действительно имела пустой вид. Сильный запах мускуса обдал меня; ковры были сняты; крашеный пол блестел; в углу, на деревянном треугольнике под образом, крупной звездой горела лампадка; на кровати, казалось, никого не было, до того низко и плоско лежала больная. Ровное, хриплое клокотание доносилось оттуда, похожее на кипение воды, но не на движение живой груди. Я приблизился. Машино лицо лежало в яме, под подушками, прикрытое четырехугольным прозрачным платком, с серебряным крестом посредине и такою же каймою вокруг. Лицо это было бескровное, с закрытыми глазами и неподвижно раскрытыми губами, из которых вылетал этот страшный, ровный хрип. Я инстинктивно перекрестился и ушел. В дверях я столкнулся с няней, возвращающейся на свое дежурство и не сказавшей мне ни слова.

В течение дня я невольно приближался к Машиной двери несколько раз. Случалось, что я заставал полную тишину. Потом опять возобновлялось то же ровное, страшное и безжизненное хрипение. Я уже начинал думать, что и все это затянется у Маши на несколько дней, как случалось и со всеми другими изменениями ее болезни. И вдруг мне подумалось, что это – глубокий сон, что это именно тот «кризис», о котором я слышал от докторов и которого у нас ожидали так долго, но, по-видимому, безнадежно и напрасно.

Все оставались по-прежнему в разброде. В эту пору дни уже

становились короче, и скоро наступил вечер. Я ходил по двору до полной темноты. Уже замигали первые звезды на потемневшем, безоблачном небе, как вдруг с галереи нашего дома, выходившей во двор, послышался неистовый крик: «Идите!.. Идите!.. скончалась!..»

Стремглав я вбежал в комнаты. В потемках везде слышался плач. С моим сердцем делалось что-то невероятное. Няня обливалась горючими слезами, и все (так как все вдруг собрались) ей вторили. Рыдая, она торопливо говорила: «Сейчас… сию минуточку… Она, было, совсем затихла. Я засвечивала лампадку… Вдруг слышу: приподнялась… Я к ней, а она!..» И снова сильный крик с рыданиями вырвался у няни, так что она не могла докончить…

И я рыдал без удержу, с криком, стоном и визгом, сам не зная, какие звуки, какие слова, какие восклицания могли бы передать то, что со мною делалось. Всякая попытка начать какое-либо слово, передающее мысль, переходила в мычание и усиливала крик, захватывающий дыхание, и вслед за тем наступал кашель с пролитием новых, неудержимых потоков горячих слез. В несколько секунд мои глаза опухли. И замечательно, что в течение всего этого неистового плача я чувствовал, как Маша, сквозь мои смыкающиеся и мокрые глаза, смотрела теперь мне прямо в душу, и хотя я не слышал ее слов, но для меня было несомненно, что она видит меня всего, насквозь. Она мне представлялась теперь легкою, воздушною, вездесущею и всевидящею.

Истощив до боли в груди все слезы, я выбежал на воздух.

В чистом небе светил ясный полукруглый месяц, и рядом, возле него, блестела звездочка. Я знал, что Маша улетела куда-то к небу, и я недоумевал, где она может быть в эту минуту. Я понимал, что, как наша мысль, она может заполнять собою весь видимый мир. Долетела ли она к Богу, или теперь еще, по преданию, она находится где-то ни здесь, ни там – возле своего тела и в воздухе – долетает до луны и в то же время не покидает землю, – «мытарствует» и витает – «улетучивается»?.. Тайна меня обхватывала, мучила и доводила до бреда.

Я опять вбежал в комнаты. В Машиной спальне суетились. Туда сбежалась прислуга. Мне сказали: «обмывают». Я подошел к двери. Послышался тупой звук, точно кукла ударилась об пол. «Неужели ее обмывают на полу?» – спросил я. – «Да, на сене». Все это меня привело в ужас, и я опять выбежал во двор.

Наш белый флигелек, с его стеклянною галерейкой и высокой зеленой крышей, отчетливо и спокойно вырезывался в лунном свете. Над ним возвышалось двумя круглыми фестонами густое

грушевое дерево. Две белых трубы обозначались на темной листве. В небе, возле месяца, еще яснее мигала бриллиантовая звездочка. «Маша!?» – повторял я в безумии.

Я все ходил, спотыкался о камни, вдыхал свежий воздух, смотрел по сторонам и преимущественно на небо и с ужасом повторял себе: «Однако там, в доме… Что думать?.. Что делать?!»

Дойдя до парадного крыльца, я увидел, что дверь открыта настежь и в зале горят свечи. Я вошел. Дверь из залы в гостиную была заперта; в углу, наискосок к этой двери, были вместе сложены разные столы, на которые клали свежую скатерть. Одно из простеночных зеркал было уже завешено простынею, другое оканчивали завешивать. Когда стол был покрыт холодною чистою скатертью с ее резкими линиями четырехугольных складок, во главе стола положили большую подушку в такой же ослепительно свежей наволоке. И я все время беспокойно смотрел в темную дверь коридора, из которой должны были принести «покойницу». Я знал, что матушка была уже теперь возле Маши, что она быстро прибежала к умершей из флигеля, что ее немота мгновенно исчезла и что теперь она «одевает дочку к венцу», как говорили сострадательные простые люди из прислуги.

Наконец в коридоре послышалось движение и первою вошла в залу матушка, вся в черном. Она тотчас же обернулась лицом к двери коридора, откуда ожидалось шествие и, прислонившись к косяку двери, подпирая свою голову рукою, зарыдала громкими, мерно повторяющимися стонами и закрыла глаза платком, чтобы не видеть того, что приближалось. Женщины несли мертвую Машу. Первыми показались из двери ее вытянутые и плотно соединенные маленькие ножки в тонких белых чулках и бронзовых туфельках. Затем белое платье и черные распущенные волосы. Покойницу повернули головой к окнам и бережно положили на стол. Она казалась такою легкою, чистою, нарядною! Пояс из розовых лент ниспускал свои концы на совершенно новое кисейное платье, которое было заготовлено для какого-то бала и еще ни разу не было надето. Матушка, заливаясь слезами, выкрикивала свои невольные мысли о том, что она наряжает дочь в самые лучшие, нетронутые одежды невесты… Между тем Машино тело приводилось в порядок. Голова в черной оправе гладко причесанных волос углубилась в подушку. Две больших пряди распущенных кос пришлось пропустить под ее руки, которые затем были сомкнуты на груди. Кисейное платье подобрали с боков и оправили. Появились три темных церковных свечи в серебряных ставниках и были установлены вокруг стола – две в голове и одна у ног. За головою был помещен маленький круглый столик, покрытый белой

салфеткой; на нем сделали горку из священных книг и прислонили к этой горке золотую икону Богоматери. На книгах, сзади, поставили блюдце с лампадкой. Ровный свет огней распространился в зале. Ставни были заперты. Свежее столовое белье, простыни на зеркале, белые обои, белое платье и желтые огни – вот что преобладало в той невыразимо страшной картине, которая установилась теперь передо мною. Я приблизился к Маше и не спускал с нее глаз. И как ни было ужасно это событие, вблизи Маши, вопреки моим ожиданиям, я испытывал какое-то изумительно простое, примиряющее чувство. Мне не хотелось уходить от нее. Ее черты были дивно спокойны. Кожа лица и рук была еще теплая. «Как проста эта смерть, о которой я надумался до таких ужасов! – говорил я себе. – И возможно ли сомневаться в том, что Маша и теперь где-то живет?» Я в этом нисколько не сомневался и чувствовал на себе прикосновение ее души. Она мне представлялась летающею где-то непременно здесь, по всем углам этой комнаты. На белых обоях мне чудилось порхание жалобной крылатой души, кружащейся над этим чистым и грустным телом. Я вглядывался в Машин лоб, и глубочайшая мысль казалась мне разлитою над ее ровными бровями. В опустевшую залу в эту минуту вошла няня и положила на Машины глаза две медных копейки. Эти два черных кружка на прекрасном спящем лице грубо и тягостно нарушили мои мечтания. Естественное и примиряющее выражение этого, еще теплого, лица, сразу исчезло; полусонные ресницы не были видны; копейки казались двумя темными, слепыми дырами на нежно-бледном лице; оно потеряло всякое подобие жизни; получилось выражение тупого и беспомощного изумления перед этим насилием… «Разве это нужно?» – спросил я. – «А как же! Иначе глазки раскроются. Нельзя так оставить». Мне сделалось очень страшно, и я страдал от мысли, что Маша ничему не может больше противиться и что ей уже не позволено и не нужно ни на что смотреть!.. Я старался не замечать этих двух черных и, как мне казалось, неимоверно тяжких пятен на Машином лице. Мои глаза скользили по ее рукам и белому платью. Тихим, страшно тихим становилось это близкое, мучительно загадочное тело! Частые слезы обжигали мое лицо под влиянием этих невыносимых дум. «Она была такая добрая, – говорил я себе, – и вот теперь на эти мучения из-за нее она не может ответить хотя бы намеком на что-нибудь отрадное, облегчающее. Как ей, должно быть, трудно выдерживать это каменное равнодушие! За что ж это ей и нам посланы такие невыносимые страдания?!» Я прикасался к белому оборчатому рукавчику на ее руке, поправлял его, он двигался под моею рукою, и его накрахмаленные сборки,

прижатые на мгновение, снова принимали свою форму. Эти сборки двигались, а прохладная Машина рука, с грустными, отчетливыми всходами темных волосиков, была неподвижна; она плотно и равнодушно прилегала к розовому поясу… И снова два кружка меди враждебно и страшно взглянули на меня с ее неподвижной головы. Комната опустела. Свет огней становился ярче и печальнее. Вошел дьячок с псалтырем и стал поодаль, у отдельного столика. Он раскрыл книгу, зажег тонкую восковую свечку и откашлялся, чтобы приступить к чтению. Я еще раз окинул взором белый стол, белое платье, придавленные монетами глаза – и вышел через парадное крыльцо во двор.

Луна ушла в самый верх неба и светила теперь настолько ярко, что вокруг нее, в беловатом круге ее сияния, ближайшая к ней звездочка совсем потускнела. «Где теперь Маша?» – спрашивал я себя. И мне все казалось, что она возносится с каждой минутой все выше и выше и с каждым новым мигом узнает все более значительные и важные тайны бесплотного мира. «Дошла ли она теперь к самому Богу? Видит ли она Его непостижимое лицо? Или она еще во власти ангелов – пугается новой жизни и с печалью на сердце хочет вернуться к нам, чтобы нас утешить?.. И ангелы обольщают ее вольною жизнью неба, и она соглашается навсегда покинуть нас?..»

Земля нашего двора сделалась совсем белою от месячных лучей; осенняя тишина светлой ночи ничем не нарушалась. И в этом белом освещении мне чудилось: белое платье покойницы, белая скатерть, белые обои – вся эта покинутая нашей семьей комната, в которой лежала Маша, отделенная от всего живого. Я снова взошел через открытую дверь парадного входа в залу. Дьячок своим ленивым и грустным басом читал славянские молитвы. Меня мучило представление, что Маша должна выслушивать эти молитвы от дьячка, которого она никогда в своей жизни не видала, и что этот дьячок остается с ней на всю ночь наедине, – с ней, красивой и нежной девушкой, в ее лучшем бальном платье! Остановившись на пороге, я заметил, что весь стол и сама покойница казались еще белее и безжизненнее, чем прежде. Я увидел, что Маша уже покрыта холодной свежей простыней от нижнего края стола по самые руки. Под этой простыней острием выставлялись ее ножки. Я приблизился… Черные монеты еще глубже пристали к закрытым векам. Эти монеты, заменившие собою глаза, как мне казалось, еще более самих глаз, изумлялись всему происшедшему и, как мне думалось, всего более изумлялись голосу этого незнакомого дьячка… Но что меня всего более терзало, это холод Машиной кожи!.. Я не мог себе никогда ранее представить, чтобы живая

кожа могла охладеть до такой степени, как, например, грифельная доска или медный замок. «Теперь, – думал я, – последние остатки *души* исчезли…» Я еще раз окинул глазами все это непривычное, ужасное зрелище и, предоставив дьячку мучить бесчувственную Машу роковыми звуками славянских молитв, ушел совсем – ушел, не помню куда, и не помню, как провел остаток ночи.

На следующее утро моя первая мысль направилась к зале, в которой лежала страшная и таинственная Маша. Опустевшая голова не умела думать ни о чем другом; сердце застыло в одном болезненном чувстве безысходного горя; глаза мои тупо смотрели вокруг, но в груди моей неустанно поднимался холод ужаса перед тем, что случилось. Я подошел со стороны коридора к дверям залы. Еще издали дневной свет показался мне более беспощадным, нежели свет огней. Октавы дьячка, не внимавшего утренней суете, терзали мой слух своею глухою монотонностью гораздо мучительнее, чем слышанный мною месяц тому назад Машин бред. Со стороны Машиного стола ничего не было слышно… О, какая безумная загадка!

В зале виднелись разные люди. Я вступил в нее, увидел все то же, что вчера, и повернул к столу, поближе к Машиному телу, к ее лицу. Боже мой! Что с ней сделалось! Монеты были сняты с закрытых глаз, но желто-белое, бескровное лицо получило совсем чуждые черты. Мне все думалось, что мы похороним Машу почти такою же, какою знали ее при жизни; я этим утешался еще вчера, вникая в ее неостывшее, спокойное и задумчивое лицо. И вот я вижу теперь: нет! Смерть, должно быть, ужасна. Очерк длинных Машиных бровей утратил выражение мысли; стиснутые губы и подбородок застыли гипсовым четырехугольником; впадины глаз были окружены холодною темною краской; гладкие волосы на лбу потеряли блеск и получили сухой войлочный оттенок; нос удлинился и придавал всей голове покойницы выражение тупого удивления; на крыльях ноздрей обозначилась целая ткань белых точек; и на сложенных руках, на подогнутых внутрь пальцах я со страхом увидел посиневшие, почти черные ногти. Я знал, что Маша пришла бы в содрогание от одной мысли, что ее красивые, миндалевидные ноготки когда бы то ни было превратятся в эти черные пятна… Из любви к ее памяти я перестал поглядывать на внутреннюю сторону подогнутых пальцев и смотрел только на верхнюю часть рук. Они напоминали своим цветом лепестки лилии. Бескровная белизна не портила их. На одной из них чернело то самое эмалевое колечко, которое притянуло мои губы на первый поцелуй в моей жизни, за английским уроком: матушка надела на Машину руку это кольцо, чтобы оно

«полежало на ней». Лицо мое горело тупым жаром, опухшее от непрерывных слез; теперь эти слезы появлялись каждую минуту и вытекали беззвучно при каждой мучительной мысли; редко, редко в моем горле поднимался тихий и сиплый звук, когда терзавшие меня думы пересиливали последний запас невольного терпения и мне хотелось что-то сказать, и я не мог ничего выразить.

Между тем в залу прибывали посторонние. И если мне случалось заметить входившее знакомое лицо, которое впервые становилось свидетелем нашего горя, тогда только, взглянув на пришедшего, я рыдал громко, с новым, обильным притоком слез. То же случалось и с каждым из нашей семьи при взгляде на нового знакомого посетителя.

День был яркий. Желтый, сильный свет этого дня наполнял меня непередаваемою тревогой и томлением. В зале образовалась толпа, которая постоянно сменялась. Все держали себя необыкновенно тихо, так что минутами явственно раздавался треск свечей с их отвратительным пламенем при свете солнца. В комнате становилось душно; неприметно появился особый запах, о котором говорили, что он «идет от покойницы». Действительно, этот тяжелый, металлический запах не походил ни на какой другой, известный мне ранее. И это новое страшное явление оскорбляло во мне Машину память, терзало меня за нее – за эту родную, привлекательную, беззащитную Машу. Двери, ведущие из залы в другие комнаты, оставались все время закрытыми и притворенными; и этот зал со свечами, с дьячком, с Машей, с чуждою нам толпою, приходящею с улицы, казался страшным бредом, который оставался в голове и холодил сердце, в какие бы уголки дома ни приходилось удаляться.

В этот же день должен был происходить и вынос тела в кладбищенскую церковь. Перенесение было назначено в семь часов вечера. Среди дня принесены были к нам почтовые листки в траурной каемке, и в них было напечатано о Машиной кончине, о выносе и погребении. Я с отвращением читал эту новость о Маше и был убежден, что кто-то всемогущий и невидимый наверное знал обо всем этом заранее, и только мы, живя с Машею, не догадывались, что листки эти непременно должны были появиться сегодня. Еще несколько позже появился розовый гроб, белый внутри, с твердой подушкой. Он был поставлен на двух табуретках, параллельно со столом; крышка с крестом из серебряных позументов была выставлена на крыльце, перед парадною дверью. К вечеру толпа постепенно возрастала. Все мы готовились к чему-то еще более ужасному, чем все предыдущее. Суетились, одевались в черное. К нашим воротам подъезжали экипажи. Вдоль бульвара, против наших окон, собирался народ…

В наш двор пришли мужики с церковными хоругвями. В залу входили мужчины и дамы местного общества. Все они казались мне до такой степени живыми, что об них нельзя было и подумать, чтобы кто-нибудь из них когда-нибудь оказался в положении Маши. Своим видом они напоминали мне те беззаботные дни, когда мы с ними встречались; по мере их наплыва становилось чуточку менее холодно на душе, как будто сила чужой жизни приходила несколько на помощь нашему сумасшествию. Появилось духовенство. Пришли певчие. Приехал архимандрит. Его сухое монашеское лицо и звучный, бодрый голос, спокойное выражение его глаз при взгляде на Машу, которую он часто видал при жизни, – все это придало мне минутную крепость. Он облачился и надел траурную митру. Я почувствовал какое-то странное удовлетворение от сознания, что над Машей молится особа высшего духовного сана, как будто в этом выражалась наша чрезвычайная и трогательная забота об умершей. Началась первая панихида. Толпа стояла плотно, как в церкви; у всех горели в руках тонкие свечи; Маша, с ее ужасным столом, была теперь отделена от меня целою стеною людей и духовенства. Архимандрит обходил вокруг стола с каждением; певчие затянули грустные молитвы; Машино тело превратилось в церковную святыню. Казалось, всем сразу сделалось невыносимо прискорбно, и почти все заплакали; повсюду вокруг себя я видел мокрые глаза и носовые платки. Там, впереди, за стеною людей, совершилось положение во гроб. Мелькнуло белое платье поверх голов, а затем поднялся розовый ящик и опустился на стол. Чем дальше, тем громче и печальнее взывали певчие; ладан застлал воздух, огни свечей, сотни дыханий делали такую жару, что на всех лицах выступали капли пота. Когда дело дошло до «вечной памяти» раздались крики; певчие заливались, покрывая все возгласы раскатами надрывающей душу мелодии. Началась суета. Гроб высоко поднялся над толпою. Вынос покойницы из дому казался мучительнее всего, что было ранее. Даже наши маленькие близнецы – брат и сестра на руках у своих нянек – огласили воздух неутешным ревением, как будто и они протестовали против этой последней, нестерпимой жестокости. Все двинулись к выходу сквозь широко раскрытые двери. Хор затянул медленное, громкое и безотрадное: «Святый Боже!» Эти звуки, вырвавшись на воздух, зазвенели сильными, плачущими нотами альтов. Гроб повернулся в дверях, наклонился на ступенях крыльца и вышел на улицу в открытые ворота. Процессия двинулась.

В то время в нашем городе еще не было колесниц. Простые рабочие несли гроб на длинных полотенцах, продетых сквозь его серебряные ручки. Матушку вели под руки, она шла, плотно

держась у изголовья розового ящика и наклонив голову, как бы заглядывая внутрь гроба. Все мы, дети, шли рядом с нею, с непокрытыми головами. Глаза мои горели от слез, под ногами у меня белели мягкие, пыльные колеи улиц. Я шел с другими в середине толпы. Розовый ящик, ниспадая почти до земли, качался впереди. По сторонам поднимались хоругви. Сквозь пение и топот народа я услыхал где-то в небе звон колокола. Я знал, что я нахожусь теперь в самой сердцевине того высшего горя, какое только может испытать человек в жизни. Что было прежде с другими – то самое случилось теперь с нами. И теперь я убеждался как нельзя лучше в том, что я был совершенно прав, когда я так мучительно скорбел о всех тех чуждых мне людях, среди которых появлялся где-нибудь покойник. Я не заметил, как мы обогнули тот самый угол улицы, где перед окнами нашей прежней квартиры двигались все чужие похороны. Процессия уже находилась на прямой дороге к кладбищу. Эта улица, в глубь которой я прежде избегал заглядывать, оказалась гораздо длиннее, чем я думал. Кладбищенская гора все еще виднелась вдали. За последними домиками открылось еще пространное пустое поле. Мы незаметно поднимались, и вот ко мне уже стали явственно долетать тонкие звуки с кладбищенской колокольни. Та маленькая церковь на горе, которая давно уже пугала меня своим видом, отчетливо обозначилась теперь с своим низким куполом и острою колокольней, и тонкий лепет ее звона, казалось, говорил мне, что она не так страшна, какою она мне представлялась издали, и что с этого времени между нами может произойти сближение. Я уже ясно видел ее белые стены за оградой. Шествие направилось к небольшой арке ворот. Над этой аркой стоял на одной ноге темный крашеный ангел с длинною трубкою; под ним, над воротами, изгибалась полукруглая надпись славянскими буквами по белой штукатурке: «Приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Аз упокою вы». И вот я – у порога будущей жизни!.. Внутри ограды показалась дорога, обсаженная густыми деревьями. В просветах белели памятники. Гроб, ниспадавший на полотенцах, быстро направился вдоль аллеи, близкий звон казался теперь особенно громким, как будто он, уже не стесняясь, выражал свою радость и гостеприимство. Пройдя по аллее мимо разных могил, пестревших сквозь зелень, мы вслед за гробом свернули налево, вступили на низкое крыльцо и вошли в открытые двери полутемной церкви. В ней было холодно. При немногих зажженных свечах и лампадах, под заключительные громкие удары колокола, открытый гроб установили на двух табуретах. Певчие внесли за собою все те же плачущие звуки торжественного: «Святый Боже!» По-видимому, на

сегодня церемония кончилась. Матушка взглянула на Машу, разразилась новым плачем; поднялась суета, после которой нижняя часть Машиного лица, начиная от ноздрей, была покрыта ватой. Прислуга при этом говорила, что из ноздрей вылилась «черная кровь». Машино лицо страшно изменилось от перенесения, непередаваемая мука, утомление и обессиление, казалось, отпечатлелись на нем. Это лицо как будто просило покоя и хотело сказать окружающим, что если его еще хотя немного потревожат, то оно совсем исчезнет. Машу завернули белою кисеею поверх всего гроба. Служба кончилась, и начался разъезд. И мы наконец уехали, оставив Машу одну, в холодной церкви…

Грустно сознаться, но по возвращении в дом я все-таки почувствовал мимолетное облегчение от сознания, что у нас более нет в комнатах этой нестерпимой для сердца и для мысли страшной залы с Машиным телом. Но за это ничтожное утешение я поплатился мучительными и безутешными размышлениями в своей теплой постели. Я чувствовал Машины упреки за наш эгоизм; я терзался от мысли, что мы можем греться под одеялом, отдыхать и думать о чем угодно, в то время когда она заперта в темной церкви и потеряна для нас навсегда… Не помню, каким образом тяжелый сон прервал эти бесполезные терзания.

Утром вся наша семья, не обменявшись ни одним словом, собралась ехать в эту странно близкую, завладевшую горем нашего сердца кладбищенскую церковь. Во все эти последние дни я очень мало видел отца. Он преднамеренно уединялся, переживал свое несчастье вдали от посторонних глаз. Он всячески старался владеть собою. Я помню только, что на отпевании, перед выносом тела, его крупная голова с открытым лысым лбом возвышалась в толпе, и веки его выпуклых глаз страшно краснели от прилива слез. Безмолвный, он удержался настолько, что у него пролилось по щекам, в его седые, стриженные бакенбарды, всего несколько капель. И теперь, в коляске, возле матери, с ее бледным, опухшим лицом и тупыми мутными глазами, он сидел с большим самообладанием, в том же сдержанном молчании.

Утро стояло светлое. Мы поднялись в гору, въехали под кладбищенские ворота во вчерашнюю знакомую аллею и подкатили к крыльцу. Зеленая железная дверь была еще заперта. При нас открыли церковь. Гроб стоял по-вчерашнему, розовый, с теми же складками покрывавшей его кисеи.

Матушка подошла к нему, отдернула полог, посмотрела долгим, измученным взглядом на Машино лицо, бессильно вздохнула, что-то вокруг покойной оправила, потребовала еще ваты и вновь, после разных движений над телом для приведения

его в порядок, остановилась в созерцании перед дорогим лицом и опять вздохнула и, закрыв Машу кисеей, отошла.

Начали звонить к обедне.

Церковь незаметно наполнилась. Приехало много новых лиц, не бывших на вчерашней панихиде. К середине обедни сделалось так же тесно, как было вчера в нашей зале. Хор уныло подпевал священнодействующим. Розовый ящик мучительно торчал среди церкви с распростертой, изуродованной, посиневшей и похолодевшей, неузнаваемой Машей. При солнце и свечах, над плотною и безмолвною толпою, в усиливавшейся духоте все резче и явственнее разливался невыносимый, ни с чем не сравнимый, металлический запах ее тела… В своем безумии я недоумевал, какие грехи могли быть у доброй и чистой Маши, чтобы это «тление» возвещало о них всем присутствующим, так как меня учили, что одни только святые остаются нетленными.

Но вот кончилась обедня. Архимандрит вышел со священниками из алтаря и началось усиленное каждение вокруг гроба. Запах, носившийся в церкви, становился нестерпимым от тусклого воздуха, в котором слились дыхания народа, туман от ладана и «тлетворный дух» от умершей. Голова моя отказывалась думать; меня мутило на сердце, но глаза механически следили за всем этим ужасом. Нас подозвали прощаться. Я помню, что я с содроганием приник к костлявой и холодной, почти совсем черной Машиной ручке и, взглянув на ее лицо, увидел, что ее глаза ввалились так глубоко, что мне почудились вокруг них две дыры черепа… Но пытка на этом не остановилась. Архимандрит приладил к Машиному лбу бумажный венчик, всунул ей в руки восковой крест и какой-то печатный лист, а затем всю ее, поверх платья, полил темным церковным маслом и покрыл ее кисеею, засунув концы кисеи внутрь гроба. Тогда над Машей занесли крышку, плотно пригнали ее и пристукали молотками. И мы понесли ее к могиле. В последнюю минуту, когда пришлось навеки удалить от наших глаз опущенный в могилу гроб, матушку едва удержали за руки рабочие, так как она с неистовым воплем и стремительною силою бросилась в яму. Так мы похоронили Машу.

III

И началась наша жизнь без Маши. Ее комнатка оставалась запертою. В нее входила только няня, чтобы засветить лампадку. Все мы почти не говорили. Вяло, с каким-то невольным отвращением, переживались эти первые дни. Все казалось ненужным. Чем дальше – тем непонятнее представлялось все случившееся. В памяти понемногу начала обрисовываться прежняя, совсем здоровая, веселая Маша, нарядная, разговорчивая, – и не было возможности верить своим собственным чувствам, что все это действительно когда-то было. Взглянуть теперь на фотографию, снятую с живой Маши, казалось таким мучением, которого бы не вынесло сердце. Взглянуть на ее почерк – да это значило бы просто сойти с ума!

Вскоре после похорон приехал в город молодой человек, издавна близкий к нашему семейству, который настолько увлекался Машей, что у нас почти сложилось убеждение, что он на ней женится. Это был цветущий, румяный брюнет, из помещичьих сынков, добрый, жизнерадостный, которого, конечно, Маша покорила бы вполне, если бы в ее натуре не было тонких, быть может, несколько романтических требований от жизни. Теперь ее ответ на его чувство остался навеки сокрытою тайною, и с тем большим правом этот юноша мог держать себя в качестве пострадавшего полуофициального жениха. Оставаясь таким же румяным, как прежде, он плакал, как дитя. Матушка вторила ему, убежденная теперь, без всякого сомнения, что она оплакивает свою дочь вместе с ее осиротевшим женихом. Анатоль – так его звали – взялся горячо за отделку могилы к сороковому дню. И когда в ясное осеннее утро мы приехали на знакомое кладбище, Анатоль встретил нас у входа и, взяв матушку под руку, с грустным лицом проводил ее по тропинке, впереди нас, мимо разных памятников, до Машиной могилы. Вокруг земляного холма с простым белым крестом мы увидели продолговатую изящную деревянную ограду, окрашенную белой и зеленой краской, с высокими столбиками по углам и с гирляндами из листьев и цветов, ниспадавшими фестонами по всей решетке. День был тихий и ясный после раннего утреннего мороза. Солнце горело отчетливым кружком на безоблачно синем небе. Молодой кладбищенский священник, блондин, с густыми вьющимися длинными волосами (я его не заметил при погребении), служил панихиду как-то робко, покорно и стыдливо. Мне никогда не воображалось, чтобы при этом ужасающем кладбище мог состоять такой розовый и скромный священник, совершенно неповинный в

тех страшных несчастиях, при которых он постоянно присутствовал. Мне показалось, что он даже более меня самого робел перед событием Машиной смерти и что он молился с тем же покорным недоумением перед вопросами вечности, каким были теперь проникнуты все мы. Я полюбил его за это примиряющее впечатление, но я не мог забыть того страшного горя с Машей, благодаря которому я впервые увидал его и узнал о его существовании. Голубой дымок ладана порхал в неподвижном воздухе; желтый земляной холмик покрывал Машу – ничего нового не принесла эта панихида, которою оканчивался «сорокоуст». Оставалось ждать только «страшного суда», когда тело вновь соединится с душою. «Долго это! Нестерпимо долго!» – думалось мне, и я видел ясно, что негде искать утешения и что сердце должно оставаться по-прежнему задавленным своею тупою и неразгаданною мукою. По преданию, в этот день душа оканчивает мытарства и совсем улетает в иной мир. И моя мысль невольно следила за этим неимоверно далеким и безвозвратным полетом Машиной души, и меня терзало ее неподкупное равнодушие к нашей жизни и нашему миру. Священник уже ушел, и церковь была заперта, а мы все еще оставались возле новенькой решетки, увешанной цветами. Было до очевидности ясно, что вся Маша превратилась теперь в этот узенький продолговатый палисадник, и нам ничего более не оставалось делать, чтобы выразить нашу любовь к ней, как только стоять и держаться вблизи этой нарядной и прискорбной ограды. Наконец мы собрались идти домой. Под моими ногами шуршали опавшие листья; осенняя паутина блестела между ветвями. Мы прошли мимо белых стен молчаливой церкви с ее земною дверью и висящим на ней замком – и я еще раз упрекнул Машу за то, что она, без всякого сострадания к нам, вознеслась на такую недостижимую высоту, совсем забыв, совсем покинув наш видимый мир и нашу горячую привязанность к ней самой. Теперь уже очевидно и окончательно никому из нас не на что было более надеяться.

Казалось, эти самые мысли одновременно пришли всем нам в голову, потому что по возвращении домой Машина комнатка была вновь открыта и все в нее входили. Сладкий и удушливый мускус наполнял эту комнатку, как в ужасные минуты Машиной кончины. Пустая кровать с красным полосатым тиком обнаженного тюфяка, голые стены с зелеными обоями и в углу красный столик с иконой и лампадкой – вот все, что осталось там. И все это было так же безответно, как могила и кладбище. В этот же день нам были показаны Машины фотографии и рукописи. Да! жизнь была – и ее нет… Между этими

фотографиями и сегодняшним днем лежало такое громадное, непростительное и безобразное горе, что Машины живые черты казались недоступною сказкою, картинками из чужой жизни, иллюстрациями к чьему-то сочинению. От всего прежнего осталась одна мечта. И вся отрезанная Машина жизнь тем более походила на сон, что в разных уголках дома открывались и предчувствия смерти. На белом подоконнике в той самой комнатке, где мы с ней читали по-английски, и на ее комоде из красного дерева нашлись вырезанные ею надписи – стих из Байрона о смерти и о прощании навеки. В трех-четырех местах повторялось одно и то же убежденное и поэтическое: «Farewell» (Прощайте). И теперь Машина исчезнувшая жизнь представлялась мне сплошною и значительною тайною. Мне казались загадочными все ее самые простые разговоры. Мне думалось, что она должна быть святою, – ее жизнь была так чиста, в ее сердце было столько доброты, – и, вспоминая, что Маша все-таки подвергалась разложению и что Небо высказало в этом свой приговор, я терзал себя мыслью, что, быть может, мои два грешных поцелуя были единственными пятнами в ее жизни, за которые ее и наказало высшее Правосудие. И сердце мое поневоле сжималось от такой суровой требовательности загробного суда. Мне часто, гораздо ранее несчастия с Машей, приходило в голову, что я понял тайну жизни. Следя за собою, я решил, что жизнь есть не что иное, как ряд быстрых и бессвязных мыслей, порождаемых случаем в нашей голове. Чуть, бывало, проснешься – начинается эта работа мысли. Идем, например, куда-нибудь гулять; я в молчании следую за другими, а между тем мои глаза смотрят на землю, на доски тротуара, на дома и деревья – и я все время думаю – так странно и непоследовательно думаю о разных разностях! Какой-нибудь, например, камень на дороге, бог весть почему, напоминает мне далекую почтовую станцию в степи, и я думаю о ветряной мельнице и о раките, виденных мною давным-давно при закате солнца… Еще один шаг – мне почему-то вспоминается немецкая грамматика с ее тонкими крючковатыми буквами, и я вижу ясно страницу, на которой крупным черным шрифтом напечатано: Vorwort – глава о предлоге, и я чувствую голод перед обедом, когда я заучивал с ненавистью эту трудную главу, и т. д. Даже во сне мысли делались спутанными, но не прекращались. «Вот во всем этом и вся жизнь», – говорил я себе и считал, что я уразумел никому недоступную истину. Меня поражало при этом, что среди вечного хаоса моих мыслей все внешние предметы всегда оставались верными себе и никогда не забывали, где им следует находиться. Иногда меня изумляло, что какая-нибудь грифельная доска, о

которой я совершенно забыл, открывалась в каком-нибудь уголке дома, когда я ее искал, на том самом месте, куда я, в рассеянности, ее засунул недели две тому назад. «Как это она могла так удивительно верно лежать на этом именно месте?» – думал я, когда брал в руки доску. Но вся эта моя философия истребилась после Машиной смерти. Мне думалось, что я уже все понял, – и однако же Машиной смерти я никак не мог постигнуть. Мои мысли, т. е. то, что прежде составляло мою жизнь, казались мне теперь бесцельным и тяжелым времяпрепровождением. Ничто меня теперь не занимало, кроме вопросов недоступной вечности.

Матушка перешла к нам, в мезонин. В большой комнате, где стояли наши кровати, она велела постлать ковер в противоположной, свободной половине; поместила диван с креслами, развесила фотографии и проводила день за круглым столом, большею частию с книгой. Ей прислали толстые сочинения тогдашнего модного спирита Аллан-Кардека. Вслед за нею и я читал «Livre des Mediums» и «Livre des Esprits»[3]. Сначала, по доверию к печатному слову, я добросовестно разбирался в доводах таинственной науки. Но серое и странное существование исчезнувших людей слишком походило на выдумку; сношения спиритов с помощью медиумов со святым Августином и самим Иисусом Христом возбуждали во мне сильнейшее подозрение, а напечатанные письма этих великих теней были настолько ниже моего представления о них, что я с безнадежностью бросил эти книги, не дочитав их и до половины. Я чувствовал, что жизнь противна, бесцветна и тягостна до невыносимости. Даже молчаливая, всегда заплаканная, вся в трауре, с крепом и плерезами, матушка была все-таки ближе к жизни, более связана с нею, чем я. Случалось, что она мне советовала развлечься, – сделать прогулку, навестить знакомых, – но я находил все это решительно неуместным и ни к чему не ведущим. Тупое, тягостное равнодушие и безвкусие овладевало мною все больше и больше. Я начал чувствовать упорную боль и тяжесть в затылке. Пища возбуждала во мне отвращение. Неодолимое уныние внушало мне боязнь за себя, и я невольно выжидал какой-нибудь развязки. Меня убеждали съездить к нашему доктору. Помню ровный, серый осенний день, когда я навестил его в «Богоугодном заведении», на горе, за соборною площадью. Я застал его в халате. Его голая шея с правильной головой напоминала мне готовые бюсты знаменитых людей. В казенных комнатах было просторно и пусто. Доктор нашел, что я действительно не совсем здоров, но приободрил меня, как умел. Его тихая речь, его спокойное и здоровое, хотя и нерадостное лицо – подействовали

на меня недурно. К вечеру, однако, я, в состоянии какого-то особенного отупения и нездоровья, в непривычное время, раньше чая, лег в постель.

У меня начался тиф. Помню только, что я долго-долго лежал. При малейшей попытке поднять голову в глазах моих загорались несчетные искры, и страшная боль не позволяла мне сделать какое-нибудь движение. Когда-то, раза два или три в течение болезни, я видел возле себя – днем или ночью, не помню, – матушку, подающую мне лекарство, и доктора, с его успокоительным видом и какими-то добрыми словами, которых я не понимал. Когда же я начал понемногу понимать окружающее, мне объяснили, что я был очень опасно болен. И я, хотя слабо, но все-таки обрадовался этой опасности, которая была возле меня так близко. Я помнил, что мне было скверно, но не было страшно. Я все еще оставался равнодушным и очень хорошо помнил то громадное несчастие, которое перенесла вся наша семья. Но самое это несчастие как-то подернулось туманом. И, лежа на своей кровати, с сознанием слабости моего тела, я думал о всем случившемся с невольным, подкреплявшим меня спокойствием. Однажды, среди моих вялых мыслей, я даже нашел очень своеобразное доказательство бессмертия души. Я говорил себе: ведь вот же я решительно не помню всего этого месяца и что случалось вокруг, я не знаю; однако же я оставался цел и чувствую себя тем же самым. Значит, дух умеет куда-то прятаться и где-то сохраняться в то время, когда тело лежит чурбаном и ничего не сознает… И эта мысль на многие следующие годы всесильно завладела мною. С той минуты я составил себе свое особое мнение о независимости духа от тела и пренебрегал чужими суждениями, сохраняя внутри себя какую-то особенную, инстинктивную, непередаваемую веру.

Понемногу я начал подкармливаться. Мне становилось необыкновенно радостно от ощущения, что боль и тяжесть в моей голове исчезают и что я могу свободно подниматься с подушки. И совершенно неожиданно настал день, когда я чувствовал, что могу встать. Голова кружилась, ноги были слабы, руки были холодны и дрожали; но все это преодолевалось, и постепенно возвращалась привычка сидеть и ходить. Мои волосы выпадали целыми клочьями, и я даже радовался этому, потому что видел в этом ясное доказательство тех особенных страданий, которые вынесла моя голова. На месте вылезавших волос поднимались новые и притом, неожиданно для меня, – курчавые. Взглянув на себя в зеркало, я нашел себя сильно исхудавшим, с прозрачными глазами и синим румянцем. Я чувствовал жалкую и милую холодность всей моей кожи. И с каждым днем возрастала радость

выздоровления. Для меня было теперь очевидно, что моя болезнь была необходима для моего ума и сердца. Казалось, не будь ее – мне бы оставалось только одно – сойти с ума. В период выздоровления я услыхал, что во время моей болезни умер от тифа товарищ моего класса, гимназист Максимович. Я принял эту весть сравнительно спокойно; подобная утрата, после Машиной смерти, казалась мне очень простою. Мне даже было несколько приятно, что я вынес теперь именно тиф, т. е. такую болезнь, от которой умирали. Я испытывал слишком большое утомление, чтобы сочувствовать Максимовичу, и я еще слишком жалел самого себя, чтобы сожалеть о нем. Я флегматически думал: «Так вот, – пока я здесь лежал в жару без всякой мысли и мог умереть, – Максимович не вышел из этого жара и совсем умер». Мне вспоминалось, что это был добрый гимназист, коренастый, крупноголовый, с серыми глазами и сильно черневшими бакенбардами, смотревший уже совсем взрослым и слывший между нами ленивым хохлом, робко отвечавшим трудные уроки. И я невольно мирился с тем, что Максимович, так слабо понимавший теоремы в геометрии и формулы в алгебре, теперь, после своей смерти, постиг все, что есть самого недоступного для человечества.

Спустя месяц я уже снова посещал гимназию, слушал уроки, пачкался мелом, голодал в конце классов, обедал с аппетитом, заботился о своем учении, шел куда-то вперед, – но уже неопределенная тоска покрывала основную глубину моей мысли.

Среди зимы умер гимназист Дзюба, казенный пансионер, худой и белокурый мальчик в черной куртке с красным воротником, – двумя классами младший сравнительно со мною. Его тощее лицо всегда напоминало мне череп. Но я все-таки необычно удивился его смерти и недоумевал, каким это образом я совсем не предвидел, что он должен был умереть. Я не видал его погребения, но и о нем, точно так же, как о Максимовиче, я думал, как о некоем таинственном герое, превзошедшем все наши мудрости.

Любимым нашим преподавателем был учитель математики Эльманович. Он был красивее всех и посещал класс в черном сюртуке, а не в вицмундире, как все прочие. Ему было всего двадцать семь лет. Говорили, что он попал к нам из петербургских студентов. Пышные черные волосы, женски белое, нежное и розовое лицо, курчавые бакенбарды, прелестные блестящие глаза, простое обращение с нами, какое-то товарищеское, без всякой слащавости, – все это привлекало к Эльмановичу. Он казался всегда погруженным в свой предмет, долго писал на доске, иногда оправлял пряди своих волос

обмеленными пальцами и весь отдавался объясняемой формуле. Говорил он низким, будто придушенным, но приятным молодым голосом и часто кашлял и, случалось, отходил в угол класса, чтобы перетерпеть пароксизм кашля и отхаркаться, опирая на руку свою голову об угол стены. Часто его лицо с необычайно ярким румянцем имело совершенно восковую прозрачность. Случалось, что он пропускал уроки по болезни, и среди нас утвердилось мнение, что он – «чахоточный». Но его цветущее лицо и какая-то молодая гордость во всей фигуре, когда он, после краткого отсутствия, возвращался в класс, заставляли нас относиться совершенно беззаботно к его болезни.

Однако в феврале он исчез на целый месяц, и мы узнали, что его отвезли в больницу. А в начале марта, в какой-то праздничный день, я получил записку от товарища о смерти Эльмановича в богоугодном заведении, с приглашением подписать что-нибудь на его похороны и участвовать в «отдании ему последнего долга». Каждый из нас подписал, что мог, и в назначенное утро я поехал с братом, бывшим в одном классе со мною, в богоугодное заведение – в то самое, в котором я советовался с нашим доктором в день, предшествовавший моей тифозной горячке.

Было солнечное мартовское утро. Во дворе, позади корпуса больницы, стояли дроги. Оказалось, что Эльманович лежит в сводчатом подвале. Спустившись в него, мы нашли в нем толпу гимназистов, почти всех учителей – и увидели Эльмановича в розовом гробу, упиравшемся в полукруглую стену подвала и окруженном свечами. Лицо было сухое, почти черное, неузнаваемое, с заостренным носом и одним полуоткрытым глазом, в котором из-под ресницы виднелся белок. Безжалостно уродлива была эта изможденная голова. Глупо торчал узкий, вытянутый нос, нисколько не похожий на правильный, с нежными очертаниями, нос Эльмановича. В подвале сильно чувствовался тот же самый удушливый запах, как и от Маши. Это полное единство, полнейшее сходство запаха, – при таком громадном различии индивидуальностей, как между Машей и Эльмановичем, – давало мне чувствовать какую-то громадную, одну и ту же силу, царящую над всеми людьми без различия. «Вот оно, то великое и печальное, что повсюду и непрестанно окружает все наши ничтожные радости», – думалось мне…

Тело было перевезено через поле к зданию гимназии, в нашу церковь, для отпевания. Столько же курилось ладану, пелись те же безутешные песни; на умный лоб Эльмановича был возложен такой же бумажный венчик, – словом, повторилось все, что делалось при погребении Маши. Я стоял все время в длинном и

светлом коридоре, перед раскрытою церковью, – в том самом коридоре, по которому, вслед за Эльмановичем, наш класс ходил в физический кабинет, – и мне думалось, что никто на свете не оплакивает Эльмановича более мучительно, чем я, и мне было больно от мысли, что Эльманович никогда при жизни не подозревал во мне такого любящего и жалостливого сердца…

Наконец гроб был вынесен на дроги. Нужно заметить, что это были больничные дроги, которых никто не брал для привилегированных покойников. Более почетных мертвецов принято было переносить на руках. Но, благодаря усердию учащихся, над дрогами был сделан балдахин, и по четырем углам, у столбиков, на них стали гимназисты, украшенные голубыми коленкоровыми перевязками через плечо. Молодые лица четырех мальчиков, с развевающимися кусками голубой материи, напоминали ангелов. Топкая грязь, пригретая февральским солнцем, покрывала дорогу. Мы спустились с горы, прошли через весь город и наконец свернули в улицу, поднимавшуюся на кладбище. Войдя в ограду, мы двинулись вправо, в противоположную сторону от Машиной могилы. Здесь я встретил на пути большой белый мраморный памятник с отчетливою надписью:

Вдова артиллерии

подполковника

М. В. Василевская.

Это была та самая Василевская, из-за которой я когда-то, почти не знавши ее, столько страдал, узнав о ее смерти. Теперь, после всех наступивших с того времени событий, эта Василевская казалась мне мирным и заслуженным мертвецом – давнишнею и вполне приличною обитательницею могил. Я прошел мимо чистого и крепкого памятника не только без малейшей тревоги, но с утомленным и сосредоточенным равнодушием. Мне даже казалось, что Василевская теперь нисколько не интересна и что богатый памятник даже несколько смешон, потому что не соответствует заслугам ее ничтожной жизни. Я обогнул этот памятник с досадною мыслью: «Ради чего это ее могила окружена такою важностью?»

Где-то, довольно далеко за церковью, мы опустили

Эльмановича в могилу. Вокруг все таяло под горячим припеком. Теплый и сырой ветер раздражал наши горевшие заплаканные лица. Ноги ныли от ходьбы. Юношеские голоса товарищей, топот молодых шагов окружали меня на обратном пути к выходу из ограды. У меня мелькнула мысль, что Эльманович познакомился теперь с Машей… И, кажется, у всех одинаково на сердце лежало бремя бессильного сострадания к этой сиротливой и молодой жизни, с которой мы расстались, и у всех одинаково мучительно носилось перед глазами то холодное и гниющее тело, которое мы сейчас закопали. Прежде чем выйти из ограды, я подвел нескольких товарищей к Машиной могиле. Там было все то же: белый крест с ее именем и днем смерти да длинная, еще свеженькая, зеленая решетка.

Мы постояли и ушли.

Весной мы переменили квартиру и переехали в совсем другую часть города. У нас более не было взрослой девушки; потребовалось гораздо меньше комнат. Всякая «нарядность» исчезла из нашего семейного быта. Мы, дети, уже совсем подросли, оканчивали гимназию и, по истечении лета, нам, т. е. мне и моему брату-близнецу, уже виднелся «университет» в другом городе, куда нас должны были отправить.

Летом, во время каникул, умер мой шестилетний брат, совершенно неожиданно, после двух дней болезни, – от дизентерии. Это был любимец отца – единственный из нас, похожий на него, – полнощекий мальчик с умными голубыми глазками и горбатым носиком. Для нас, взрослых, этот избалованный мальчик с своими капризами не казался достойным обожания. Но его тихая и, как нам казалось, «мужественная» смерть заставила нас изумиться перед ними полюбить его. Он умер утром, потребовав, чтобы ему дали проститься с его близнецом – маленькой сестрою. Его молочно-белое личико было спокойно и серьезно; он как будто понимал свою кончину и важно смотрел вокруг своими круглыми голубыми глазами из-под длинных черных ресниц. Эта смерть не имела ничего общего с теми впечатлениями, какие нам дает смерть взрослого. У покойного не было с нами тех глубоких, сознательных связей, которые превращают каждую утрату в нечто безумно неразрешимое. Брата одели в коричневую шелковую рубашечку с золотым пояском, обули в новые сапожки и, без всякого дьячка, без церковных свечей, положили на стол, где он лежал на подушке, как в своей постельке. Разбросали вокруг него цветы, закрыли ставни в средней комнате, куда его поставили, и только притворили двери в эту комнату. Я несколько раз в течение дня без всякого страха заходил в нее. Меня мучила

только эта трагическая важность вечного, скорбного холода, которая, так несоответственно с детскими очертаниями лица, тем не менее постепенно наволакивалась на эти спящие черты. Особенно печально смотрели скрещенные пухлые ручки с почерневшими ноготками… «Все то же! Все то же – даже для этих маленьких, игривых созданий!..» – с отчаянием повторяло мое сердце. Красноватые лучи заката врывались сквозь ставни в темную комнату. Вот и вечер! И как явственно слышен голос вечности… На другой день мы отвезли Тасю (так звали брата) в коляске, в розовом гробике, без всякого церковного обряда, на кладбище. Я сидел на козлах, в легкой серой гимназической шинели, развевавшейся под ласковым утренним ветром ясного летнего дня. Странная поэзия печали ощущалась мною во время этого переезда. Точно в этом очевидном ничтожестве существования, в этой памяти о беззащитной детской душе заключалась какая-то горькая прелесть… Казалось, что даже самое солнце молчаливо и покорно сочувствовало нам и стыдилось своего неуместного сияния. Нас встретил над свежей ямкой, вырытой рядом с Машиной могилой, тот же молодой священник, который служил над Машей панихиду в сороковой день. К этому времени внутри Машиной ограды уже была положена мраморная доска с ее именем, отчеством, фамилией, годами рождения и смерти и простыми словами из ежедневной молитвы: «Да будет воля Твоя».

И, спрашивается: что же иное может воскликнуть человек в подобных случаях?..

IV

Все гуще выбивались усы над моею верхнею губою. Мне постоянно приходилось слышать, что меня уже не называют моим детским уменьшительным именем, а прибавляют к моему полному имени еще и отчество. Я видел, что мне предстоит жить, как живут все другие, и что впереди передо мною лежит еще долгая и обширная будущность, в которой я решительно не знал, что можно полюбить и к чему следует привязаться. *Я отдался* течению *дней.*

По окончании нами гимназического курса, в конце лета, отец нанял немца-колониста, который должен был доставить меня и моего близнеца в Харьков на паре волов, в глубоком и прочном крытом фургоне. Мы уезжали, чтобы поступить в университет. Нас ожидал новый и знаменитый в нашем крае город, о котором я слышал так много еще в деревне. Впервые мы делались вполне свободными. И когда фургон отъехал на целую улицу от нашего дома, мы с братом уже почувствовали, что теперь, что бы ни случилось, мы должны будем действовать как взрослые, прямо от себя, без «папы и мамы», или, вернее, как папа и мама. Мы были важны, и в то же время наша власть, когда мы об ней теперь думали, как-то утомляла нас, а главное, мы боялись признаться себе, что едва ли она к чему-нибудь нам понадобится.

Фургон был избран отцом с тою целью, чтобы уложить в нем побольше принадлежностей нашего будущего хозяйства. Кроме того, отец боялся, что при остановках на станциях мы не сумеем присмотреть за вещами и нас обокрадут. Ради всего этого мы должны были тащиться до Харькова целых три дня в нашей темной кожаной бочке при неимоверной жаре. Сколько мы ни старались удобно усесться среди нашей клади, это нам никак не удавалось; мы постоянно сползали и потому, большею частию, ехали лежа. Запыленные и усталые, мы уже впадали в тупое равнодушие; дороге не предвиделось конца.

На третье утро колонист наконец поручился нам, что сегодня мы будем в Харькове. Но почти весь день прошел в напряженном ожидании: только к вечеру, когда солнце уже покраснело, мы увидели вдалеке перед собою, за длинною чертою леса, одинокую желтую колокольню, которая почитается на юге за соперницу Московского Ивана Великого. Это и был Харьков: ничего, кроме колокольни над лесом. И картина эта еще долго, ни в чем не изменяясь, оставалась перед нами до наступления темноты, когда из нашего фургона уже ничего нельзя было видеть по сторонам.

Мы въехали в город при огнях и остановились у подъезда

заранее назначенной нам гостиницы. Ее широкая лестница показалась нам великолепною. Брат Миша распоряжался и расплачивался; отец считал меня рассеянным и непрактичным; отпущенные нам небольшие деньги хранились у брата; ему же было поручено найти нам квартиру со столом, и вообще я был отдан под его опеку.

И вот наконец мы улеглись в нашем номере среди всех вынутых из фургона вещей. Мы засыпали с мыслью, что вокруг нас Харьков, что там, во мраке, за окнами нашей комнаты – целые чудеса: университет, новая жизнь, целая толпа товарищей и т. д.

Мы проснулись с теми же мыслями в ясное и милое утро, при веселом колокольном звоне (это было в воскресенье). Нас наполняла радостная тревога, и мы торопились выйти на улицу, гордые сознанием, что мы наконец попали в тот город, о котором теперь так завистливо мечтают наши младшие братья. И мы прежде всего спросили: «Где университет?»

Университетские здания представляли из себя целый город величавых построек розового цвета, стеснившийся на той центральной возвышенности подле соборной колокольни, от которой во все стороны ниспускались улицы Харькова. Все было здесь красивее и богаче, чем в Екатеринославе, и все мне понравилось. Я ходил по городу как в блаженном сне, и мне даже не верилось, что это Харьков. Я хотел бы, кажется, чтобы какая-нибудь большая надпись надо всеми этими улицами носила имя города. И я с особенным счастьем читал вывески, на которых значилось, что учреждения и школы – все это «Харьковское». Значит, здесь – Харьков…

Несколько дней спустя мы вступили в средний университетский подъезд, вошли в прохладные и высокие казенные комнаты и, подождав несколько минут, благоговейно подали ректору наши прошения. Прошения эти были нам продиктованы отцом; он требовал, чтобы мы в точности соблюли форму, потому что малейшее отступление от нее могло вызвать, как он выразился, «разные несчастия». И мы с трепетом начертали эти прошения нашим полудетским почерком, предварительно испортив от страха несколько листов бумаги.

Наконец мы устроились на отдельной квартирке и дождались открытия лекций.

Я очутился в незнакомой и пестрой толпе моих сверстников. Неведомая отвага, гордость своими непочатыми силами охватила меня. Вся эта, большею частию бедная, молодежь заражала меня беззаботным, внутренне могучим презрением ко всему якобы гнетущему и опасному. Казалось, что все делалось смешным и трусливым перед смелостью наших горячих голов. Казалось, что

наша внутренняя насмешка над всякими опасностями давала нам право решительно ничего не бояться. На всех коридорах мне встречались целыми толпами, в кучке, попарно и в одиночку эти юнцы с быстрой походкой, свежими глазами, молодою торопливою речью и с написанным на лице сознанием, что «мне и сам черт не брат». И мне приходилось поневоле стыдиться своей прежней мнительности, вдумчивости, своих мучительных колебаний. Я инстинктивно примкнул к этой подвижной, кипучей и самонадеянной толпе. По крайней мере теперь я гораздо легче отмахивался от своих прежних унылых мечтаний, чувствуя вокруг себя постоянно жужжание этого возбуждающего улья…

В нижнем этаже университета, в конце сводчатого коридора, несколько в сторонке, помещался анатомический театр, где, как я слышал, моих непостижимых мертвецов можно было видеть каждый день и где над ними просто-напросто работали для науки, по заведенному порядку, как я работаю на грифельной доске, в тетрадке или за книгой. Мне нравилось такое вызывающее, почти школьническое отношение к смерти. Часто с некоторою робостью посматривал я на вход в анатомический театр, где выставлены были трупы, присланные для обучения медиков. Благодаря этому и самые медики представлялись мне молодыми людьми с выдающеюся силою характера. Каждый, самый малорослый из них, казался мне внушительным храбрецом. Вблизи стеклянной двери, ведущей в анатомический театр, всегда был тяжелый запах и даже более едкий, чем тот, который достигал до меня от виденных мною мертвецов. Но самое несходство этого запаха с тем, который я слышал раньше, заставляло меня думать, что здесь вообще к смерти относятся совершенно по-новому и что все это чрезвычайно успокоительно и разумно. И все-таки я боялся войти в этот научно-трезвый храм смерти.

Но вот в одно ясное осеннее утро, когда ночью был мороз, а в полдень светило яркое солнце, – сойдя в нижний коридор во время «перемены», – я услыхал в толпе молодежи говор о красавице, доставленной в анатомический театр. То и дело слышались восклицания и вопросы: «Видел?» и «Удивительно!» Черные сюртуки (тогда только что сняли форму со студентов) кучкою толпились у стеклянных дверей. Инстинктивно стал я позади других, вместе с ними подвинулся ко входу, преодолевая свою брезгливость к запаху, и наконец вошел в двери и вместе со входящими свернул направо, в белую, казенно пустую комнату.

На низком деревянном столе, окрашенном в серую краску, с деревянным возвышением для головы, я увидел совершенно нагую, молодую и белую женщину, с большими выпуклыми

грудями и целой рекой темно-каштановых вьющихся волос, взбивавшихся вокруг ее головы и ниспадавших на стол из-под ее спины двумя пушистыми концами…

Я тотчас же вздрогнул, Потому что узнал в этой женщине нашу маленькую горничную Дуньку, из крепостных матери, служившую в нашей семье с детских лет и удаленную в ее отроческом возрасте за какой-то грех с поваром. Ее тогда же услали в деревню, откуда она какими-то судьбами попала в Харьков и здесь, занимаясь у одного фотографа, отравилась цианистым калием под влиянием несчастной или обманутой любви.

В первый раз в жизни я видел нагую женщину. Мне никогда не думалось, что Дунька могла быть так прелестна. Теперь я слышал вокруг себя, во всех устах, единодушный шепот восторга и сострадания. Я смотрел на этот знакомый мне низкий лоб, живописные брови, полуоткрытые серые, холодные и тусклые глаза в бахроме черных ресниц, на изящный правильный носик, на сжатые тонкие губы, на четырехугольный подбородок с ямкою, смотрел на несколько торчавшие уши, белевшие двумя раковинами в темном потоке загибавшихся вокруг них распущенных кос, и в особенности на это неотразимо красивое, великолепно сформированное тело, – и я вспоминал покорную, услужливую, привязанную ко всем нам Дуньку, – и я как бы чувствовал, что если бы она оставалась живою, то она сейчас же отнеслась ко мне с особенною задушевностью, пренебрегая всеми прочими толпившимися здесь поклонниками ее красоты… И я испытывал поэтому какую-то особенную гордость, соединенную с правом на какую-то особенную печаль…

Но Дунька по-прежнему лежала вся открытая, прекрасная и равнодушная. На ее белой шее, по обеим сторонам дыхательного горла, краснели пятна, извилистые, как жилки на мраморе, и они будто говорили своим багровым цветом, что дыхание несчастной в ее последние минуты было огненное. Вокруг я слышал отзывы, что смерть от цианистого кали бывает мгновенная. И я мысленно переживал вместе с Дунькой это бурное последнее мгновенье… Но меня как-то странно мирила нагота умершей с ее ужасной кончиной. Смерть представлялась мне теперь в каком-то более примиряющем виде. И к вечеру, после того как этот разительный образ всего меня потряс и опечалил, я все-таки не испытывал того мучения, какое мне причинили все прочие мертвецы. Я думал о том, как грустно отцвела эта жизнь, богатая таким пышным здоровьем, и воображал себе простую и тихую встречу Дуньки с Машей в ином, далеком от нас мире – и непередаваемо привлекательное молчание вечности, казалось, укрывало от меня

оба эти образа одною и тою же покровительственною и любящею рукою… И мне думается, что таким летучим и мягким страданием по поводу этой покойницы я был обязан исключительно тому, что не видел на ней одежды и что вокруг этой молодой умершей женщины-самоубийцы не могло происходить никаких обрядов.

На следующий день я не пошел в анатомический театр и не справлялся больше о Дуньке. Но этот уголок университета перестал внушать мне прежний страх. Я собирался непременно наведаться туда через несколько дней, чтобы «обстреляться» и понемногу приучить себя к виду покойников.

Прошло дня четыре, и я опять зашел в ту же комнату, на этот раз ни для кого не интересную. Мне даже никто не попался на дороге. На одном из двух деревянных столов (Дунькин стол был пуст) лежал какой-то голый мертвый человек с отпиленным поверх бровей черепом. Я не вглядывался в его черты и прошел мимо него к двум столикам у окон. На них лежали разные отрезанные части человеческого тела. За одним из столиков сидел с ножиком студент. Я видел, что эти куски обчищаются посредством скобления для открытия всего их подкожного устройства. Перед студентом лежала отрезанная немного выше кисти рука. По форме пальцев и ногтей я тотчас же узнал Дунькину руку… Я почувствовал себя очень странно – и невольно посмотрел на свою собственную руку. Меня привело в ужас, что я вижу свою руку и дорожу ею в то самое время, когда Дунька уже перестала что бы то ни было видеть и ничего не знает об участи своей руки. Я оглянулся на всю комнату бессмысленными глазами… И я сказал себе: «Надо уйти отсюда поскорее, как будто я ничего поразительного не видел; нужно смешаться с другими и разговаривать; нужно будет по звонку пойти на лекцию и затем – вникать в слова профессора, записывать, учиться… потом – идти обедать… Ясно, что все должно идти по-прежнему… О таких вопросах нельзя думать… Ничего-ничего… Скоро будет звонок…» И я ушел по лоснящемуся крашеному полу нижнего коридора к лестнице, ведущей наверх. Вся молодежь уже поднялась туда. Наверху, в светлом коридоре, стучали сотни сапог, жужжала пестрая толпа, и вскоре затем появился с портфелем под мышкой сутуловатый тощий профессор, при виде которого все это шумное стадо направилось, окружая его, в узкие двери аудитории…

Так пережил я смерть Дуньки – сравнительно легче всех других утрат. Но, несмотря на весь «натурализм» обстановки, сопровождавшей Дунькину смерть, тайна этого великого вопроса не отступила от моего сердца.

Но все-таки это была молодость! Светло и любопытно было

вокруг… Мы знакомились со многими товарищами, которые, как и мы, занимали где-нибудь одну или две комнаты. Заходили друг к другу и философствовали. У всех была почти одинаковая обстановка, т. е. стол с записками, гильзами и табаком, кровать и несколько стульев. Разница была только в гардеробе и в белье, т. е. в том, в чем выходили на улицу, да в карманных средствах, да в хозяевах квартирантов. У более достаточных слышались за стеною гаммы и арпеджии хозяйской дочери: эти звуки на рояле в утренние часы всегда говорили мне о каком-то милом и стройном порядке семейной жизни, в тишине которой расцветает неведомая барышня с двумя заплетенными косами. Она супит бровки, приглядываясь к нотам, и часто ударяет мимо клавишей розовыми пальцами своих нежных рук в белых рукавичках. И мы все, кажется, сознавали в то время, что любая из этих барышень откликнулась бы на наше сердце.

Мы были гораздо беднее многих студентов, происходивших из помещичьих или купеческих семейств. Но у нас была многочисленная и богатая родня, составлявшая тогда харьковский «большой свет». Главный дом, о посещении которого нам грезилось еще в Екатеринославе, был дом нашей двоюродной бабушки Сомовой, вдовы того самого миллионера, в имении у которого, близ Луганска, мы с братом родились. Это был великолепный длинный двухэтажный дом, выходивший на две улицы. Подъезд был крытый, в виде будки; внутри, над ступенями крыльца, блестела лакированная дверь из резного дуба; на всех окнах верхнего этажа были навешаны маркизы; на угол между двумя улицами выступал фонарик.

Задолго еще до приезда Сомовых из деревни мы часто ходили мимо этого дома, как мимо замкнутых дверей рая. Когда наконец я впервые вошел туда и поднимался по богатому ковру парадной лестницы, то в громадном зеркале на площадке увидел себя таким изящным, каким никогда ранее себя не воображал. Перед нами раскрылась блестящая анфилада высоких комнат. Все было новое, роскошное, солидное и парадное. Налево от входа были расположены: темно-синяя библиотека с мягкими диванами и тяжелыми драпировками; светло-серая гостиная с золотыми зеркалами из Парижа, кабинет бабушки с персидскими коврами и зеленою бархатною мебелью, голубой будуар и т. д., а направо – длинная белая зала с белыми лепными украшениями, с семью окнами на улицу и с таким же рядом окон из зеркал на противоположной глухой стене. Люстра, угловые канделябры и стенные бра были из белого хрусталя. Здесь не было ничего, кроме бальной мебели вдоль стен и рояля в глубине. Новый паркет отсвечивал гладким блеском, как ледяной каток. Весело

было убегать в это привольное белое царство из остальных комнат, в особенности когда были зажжены свечи только в одном углу, на канделябре возле рояля, да две свечи там же, по сторонам пюпитра. Далеко в глубине сверкали огоньки, а во всех концах зала расстилались радостные сумерки.

В нижнем этаже было множество вполне отделанных комнат без определенного назначения. В них большею частью располагались приезжие родственники.

В этом дворце проживала Сомова с своею единственною пятнадцатилетнею дочерью, которую звали Душей (так было переделано ее обыкновенное уменьшительное имя Дуня), и с целым двором компаньонок, гувернанток и прислуги. Мы были сразу встречены тепло и ласково, как родные.

Не по летам высокая и сформированная, Душа уже носила длинные платья и казалась невестой. Но, несмотря на свой рост и вообще на свою величину, она имела много женственности и вкрадчивой грации. Кожа у нее была ровной и нежной белизны, точно присыпанная пудрою; нос крупный, но правильный; волосы черные с синим отливом; глаза светло-голубые, насмешливые; когда она их щурила, они неожиданно получали страстное выражение; длинные и большие губы не портили ее, потому что звук речи был у нее ласкающий, певучий и мягкий, а по углам рта и на подбородке, при малейшем оживлении, выступали ямки; руки у нее были деликатные, породистые, с длинными тонкими пальцами.

Бабушка (родом из старинной княжеской фамилии) обладала приветливым барским обращением, говорила чистою русскою речью, была умна, сдержанна, имела своеобразный юмор и выказывала большую сердечность по отношению к разным своим дальним родственникам и многочисленным пригретым ею сиротам. Весь этот народ постоянно наезжал к ней в дом из своих захолустий. Все они являлись сюда, как к царскому двору, скромно гостили в отведенных им комнатах и всегда уезжали с какими-нибудь подарками, выбранными бабушкою с большим толком, – как раз для того, чтобы заполнить самый наболевший недостаток.

Помнится мне, из самых ранних впечатлений, и муж Сомовой. Я называл его «дедушкою». Это был настоящий барин-крепостник, отставной гвардеец, с желчным лицом, с начерненными завитыми бакенбардами, высокий, статный, с неизбежною серебряною табакеркою и красным фуляровым платком в руках, с ядовитою шуткою на языке и слезливым смехом (от постоянного нюхания табаку). Не помню уже по какому случаю, я с ним однажды ехал в коляске из Бахмута в его

имение Александровку, еще во время моей жизни в деревне, и когда мы подъезжали к Александровке, в которой я родился, он мне стал говорить о значении родины, а затем вдруг начал торжественно декламировать:

О, родина святая!
Чье сердце не дрожит,
Тебя благословляя?

Он заставил меня трижды с чувством повторить эти стихи, и я их навсегда запомнил.

Очень схожий портрет дедушки висел теперь в овальной золотой раме на стене бабушкиного кабинета. Я знал, что дедушка скончался в Харькове и здесь же был погребен. Бабушка рассказывала, что перед смертию он сам потребовал к себе священника, и когда тот вошел к нему с причастием, то умирающий, сделав над собою невероятное усилие, спустил ноги с кровати, выпрямился и «принял дары» стоя. А когда священник уговаривал его перед тем не тревожиться и оставаться в постели, то дедушка почти беззвучным голосом строго возразил ему: «Что ты, батюшка! Перед Богом да не встать!!» Дедушка умер всего три года тому назад после кратковременной болезни. Кончина его произвела громадное впечатление в южном крае, где он славился на несколько губерний как самый крупный помещик и даровитый хозяин. Для семьи смерть дедушки имела такое же значение, как перемена царствования. На престол вступила вдова; она начала с того, что купила в Харькове дом одного откупщика, отделала его заново и зажила, как подобает наследнице миллионов. Все знали, что дедушка не допустил бы таких роскошеств; все говорили, что «бабушка протрет глаза» золоту, скопленному дедушкой, но, сохраняя благодарную память к дедушкиным талантам, все, однако, радовались новому порядку вещей.

Между мною и Душею было всего полтора года разницы. Странные воспоминания остались у меня о ней еще от того времени, когда мне случалось видеть ее в Александровке пятилетней крошкой со стриженой головкой, с тоненьким янтарным ожерельем на шейке, с голыми плечиками и ручками, в батистовом платьице вроде рубашонки, в панталонцах и башмачках. Все относились к ней, как к маленькой принцессе. Мне она казалась волшебной девочкой, которой суждено величайшее счастье в мире. Беленькая, выхоленная, душистая, она еще в те младенческие годы умела выражать в своих как бы затуманенных и гордых глазках привычку к всеобщему обожанию. И когда, бывало, своей ручонкой, осыпанной тысячами льстивых

поцелуев, она меня уводила в сад, убегая от гувернантки, и смотрела мне в глаза и счастливо смеялась, как будто завладевала своею любимою игрушкой, – я испытывал большую радость, и мне воображалось, что какая-то фея уже предназначает мне эту блистательнейшую на всем свете девочку в невесты. Помню светлую, широкую аллею сада, в конце которой была закрытая деревянная беседка в виде башни с разноцветными стеклами. Мы подбежали к ней с Душей, открыли дверь, захлопнули ее за собою и очутились в глухой тишине жаркой комнаты. В ней пахло чем-то вроде ванили от разогревшихся дощатых стен, и этот странный запах одурял нас. Мы подошли к одному из окон и начали рассматривать окружающие ветки сквозь желтые и синие треугольники. Мы стояли обнявшись, приплюснув наши детские носики к стеклу, и нам казалось, что мы друг для друга дороже всех на свете…

Впоследствии, оторванный от тех краев, я слышал издалека, что Душа выросла и похорошела. В самое последнее время я знал из писем и рассказов, что она в Харькове уже имеет поклонников и благоволит к ним; что с одним студентом, из родственников, у нее чуть не вышло романа. Я заочно ревновал ее к этому студенту.

Теперь я ее увидел. Мы рассматривали друг друга, как бы очнувшись от общего сна, – как будто теперь только впервые каждый из нас мог отчетливо видеть другого. И вот теперь я видел перед собою женщину почти моего роста, с крупными чертами лица, в платье со шлейфом; но я узнал сразу ту же выхоленную белизну кожи, те же знакомые мне голубые глаза, с тою же ленивою, заигрывающею и счастливою улыбкой… Казалось, и Душа, глядя на меня, думала: «Вот каким ты вышел!.. Но я все-таки вижу: это ты». В нас обоих мгновенно ожили туманные детские впечатления.

Почти с первых же дней Душа начала обращаться со мною, как с своим любимцем. Вскоре я познакомился и с тем студентом (уже окончившим курс), который еще недавно считался ее героем. Но я видел, что роман уже прекратился, что Душа гораздо тоньше по уму, нежели этот молодой человек, и что мне бы теперь ничего не стоило вышутить его. Но я этого не хотел. Я еще вдовствовал по Маше и ни в кого не мог влюбиться. Кроме того, я знал, что Душа для меня недостижима; мы были с ней почти одних лет; я был для нее ничтожен и прекрасно понимал, что желание блистать в свете своим положением всегда преодолеет в ней всякую страсть. В жизни моей я никогда не останавливался перед самыми мучительными трудностями, но я как-то всегда сразу чувствовал недостижимое. Здесь я видел именно это. И однако же

я испытывал какое-то поэтическое и тщеславное удовольствие от Душиной нежности ко мне. Она доверяла мне все свои секреты; она требовала, чтобы мне каждый раз показывали ее новые туалеты, присылаемые из Парижа, и дорожила только теми, которые я расхваливал.

Вся эта новая жизнь заглушила во мне «шум внутренней тревоги». Каждое утро я бывал на лекциях. Тот или другой профессор всходил по трем ступенькам на полукруглую кафедру из красного дерева и читал оттуда сквозь очки по тетрадке что-то, казавшееся чрезвычайно важным и глубоким. Но я не особенно вникал в это чтение, откладывая ближайшее знакомство с предметом до экзаменов, когда у меня будут в руках записки. Иногда мне приходило в голову, что слушание лекций ни к чему не ведет. Но я отгонял эту мысль. Я видел, что множество бедняков, для которых было бы слишком дорого тратить свое время попусту, ежедневно сидели со мною в той же аудитории и с благоговением внимали профессору. Мне нравилась эта непонятная важность того, при чем я присутствовал. Я знал, что даже то здание, в котором я сидел, составляло гордость целого края. Я думал, что все прохожие и проезжие с невольным уважением смотрят теперь снаружи на те высокие и безмолвные стены, в которые мы допущены и в которых вот в эту самую минуту мы слушаем драгоценную тайну, сообщаемую людям только в этом храме. Я вспоминал о нашей семье, в которой для всех было так важно, что мы теперь в университете. Мне было приятно думать, что если бы сейчас кто-нибудь зашел в нашу квартиру и спросил меня, то прислуга или хозяйка ответила бы ему, что я «на лекции». Я радовался, что и Душа точно так же в это самое время знает о моих серьезных занятиях. Я оглядывал толпу товарищей, и, видя вокруг себя целые ряды полудетских лиц, начинающих обрастать, я судил по ним, что, вероятно, и я из дитяти переделываюсь теперь незаметно в мужчину: известное дело, что перемену всех своих возрастов мы читаем только на лицах своих сверстников, нисколько не чувствуя внутри себя, чтобы мы сами делались старше… Сознание наступающего серьезного возраста и смущало, и приятно возбуждало меня. Но в эти первые месяцы университетской жизни все как-то складывалось интересно и успокоительно. В особенности меня согревал в это лихорадочное время изящный и патриархальный Сомовский дом. Высокие комнаты, чередующиеся одна за другою в привольной перспективе, ковры, зеркала, бархат, золото и хрусталь, устойчивая жизнь и невозмутимое довольство, милое лицо расположенной ко мне кузины – всё это ласкало и радовало меня. Этот дом был для меня как бы чудесным и надежным

берегом, всегда видным вблизи, среди того «моря житейского», в которое я был брошен. Жутко мне делалось иногда и в нашей узенькой комнатке с копеечными обоями, и в широких белых коридорах университета. Но в Сомовских комнатах, – болтая с Душею или слушая ее игру на рояле, при мягком дневном освещении, проникавшем туда сквозь тюль и драпировки, или при ярких лампах по вечерам, – я чувствовал себя как будто и остроумнее, и свободнее, и крепче.

Но едва только все это так удобно устроилось, как однажды вечером Душа объявила мне и брату, что завтра утром мы должны будем прийти к ним пораньше, чтобы ехать вместе на кладбище для поминок по дедушке. Я понимал, что это необходимо, но все-таки смутился и почувствовал что-то страшное и безутешное, угрожающее каждой счастливой жизни. Казалось бы, что все уже помирились с тем, что дедушка непонятным образом куда-то исчез; самая грусть о нем уже отошла в такое чудесное отдаление, что теперь она нисколько не мешала ни смеяться, ни пользоваться с удовольствием его богатством; его большой портрет с улыбающимся лицом сделался обыкновенною красивою картиною, к которой уже все так присмотрелись, что лицо это не только не смущало ничьего веселья, но, напротив того, входило в общую гармонию красивой роскоши и своею приятною улыбкою как бы подтверждало, что все могут жить бодро и спокойно… И вдруг теперь опять поднимался этот неразрешимый вопрос, опять открывался ход в эти потемки, от которых ничего не добьешься… И это делалось людьми, которые, по-видимому, имели полную возможность отделаться от всяких ужасов. Значит, нет спасения… Нельзя иначе…

На другой день Душа, эта хохотунья и кокетка в обычное время, оделась в глубокий траур, который к ней очень шел, и вся компания в нескольких экипажах направилась на кладбище. Был свежий день самой поздней осени. За городом мы поехали через поле к отдаленному белому и длинному забору, из-за которого сквозь обнаженные деревья показалась пятиглавая церковь. Панихида совершалась в богатой часовне, где под большими зеркальными стеклами виднелись написанные нежною кистью длинные фигуры святых в голубых и розовых одеждах. Солнце едва проглядывало сквозь холодные неподвижные тучи. Воздух был крепкий и тихий. За исключением причта, бабушки и Дуни, все стояли снаружи, перед раскрытыми дверями часовни, на дорожке. Самого дедушки, конечно, не было ни видно, ни слышно. Но все думали о нем и воображали его себе неизвестно как: спящим тут же или улетевшим на небо, грустным или

счастливым, в сюртуке или в драпировке, – каждый воображал что угодно, но все настраивались невольно к тому, чтобы засвидетельствовать перед дедушкой неумирающую память о нем в нашем сердце. Все это казалось мне мучительно трудным. Большинство присутствующих были дамы. И они, как мне показалось, не только не терзались, но даже переживали какое-то возвышенное, умиленное и не лишенное приятности настроение. Бабушка держала себя с величавым спокойствием. Душа имела сдержанный и солидный вид; словом, никто не терялся.

После панихиды мы пошли в двухэтажное здание, скрытое за деревьями тут же, в кладбищенском саду. Это было «Училище сирот духовного звания», которому бабушка благотворила. В белых комнатах, украшенных портретами архиереев, был подан поминальный завтрак, после которого все общество, поневоле омраченное и молчаливое, возвратилось в тех же экипажах в город. И мне казалось, что я был удрученнее всех.

Но и это впечатление быстро исчезло. Началась зима. В Сомовском доме появлялись все новые лица. Понемногу я познакомился со всею тою светскою молодежью, которую мне заранее описывала Душа. Перед праздниками бабушка выразила желание, чтобы мы с братом заказали себе фраки ввиду предстоящих у нее танцевальных вечеров «для развлечения Душеньки, так как она еще не выезжает». Одевшись во фрак, я нашел, что мне теперь больше нечего колебаться и что отныне я уже во всем сравнялся со взрослыми. Я бывал на всех балах, танцевал с знакомыми и незнакомыми дамами, уходил курить с мужчинами и, после мазурки, вел свою даму к ужину, во время которого оберегал ее перчатки, играл ее веером, говорил ей любезности и т. д. Особенно мне нравились балы в Дворянском Собрании, когда громадная, озаренная люстрами зала была еще холодна, когда мы, кавалеры, дрогли в наших свежих сорочках с открытыми жилетами, а дамы, одна за другою, проплывали мимо в пуховых пелеринках и воздушных платьях, или когда, к приезду наиболее интересных из них, мы выбегали в сени и поджидали их среди вешалок с шубами, чтобы добиться от них танца, чтобы увидеть первыми, в каком платье, в каких цветах и лентах они выйдут сегодня из своих мехов. Звуки бального оркестра восхищали меня, и мне хотелось неудержимо вторить им, носиться, кружиться и выражать плавными движениями мое наслаждение тою веселящею и грациозною мелодиею, которая так соблазнительно пела, носилась и смеялась в воздухе. Я погрузился в особый мир бального тщеславия, соперничества и радостей. Было, например, что-то коварно-милое в этом удивительном праве подойти к незнакомой привлекательной

барышне, поклониться ей и в ответ на это встретить доверчивое движение ее рук, а затем обнять ее, как самое близкое существо, и слить себя на несколько минут с ее недоступною жизнию.

Мне приходилось часто ложиться перед рассветом, и моя совесть иногда упрекала меня в том, что я балуюсь и веду пустую жизнь, но на другой день я всегда вставал бодрым и никогда не пропускал лекций. Достаточно сказать, что среди зимы я выдержал репетиции на пособие, так как мы с братом были действительно бедны. Вскоре после Машиной смерти отец вышел в отставку, и наши средства сделались очень скромными. Мы жили в самой убогой комнатке, в которую, конечно, никто из наших знакомых «из общества» никогда и не заглядывал. Кормились мы, когда не обедали у бабушки, чем попало. Я страдал за свои сапоги, за свое белье и за дурное сукно своего платья. Я мучительно завидовал бальным рубашкам изящного покроя, из дорогого полотна, с крахмальною грудью. Но все недочеты в моем туалете как-то сходили с рук. Я имел своего рода успех среди провинциальной аристократии.

И так прошел этот первый год моей университетской жизни. На лето мы поехали к семье. Во время каникул с нами обращались в доме, как с полувзрослыми. Наши младшие братья почувствовали между собою и нами как бы целую пропасть. И в середине августа мы опять возвратились в Харьков.

V

Совсем иная жизнь началась для меня на втором курсе. Еще летом мы узнали, что Сомовы уехали на два года за границу. Мы лишились этого дома, заменявшего нам семью. Брат нашел квартиру в маленьком домике у небогатых купцов за Нетечью, в глухой местности, в которую я раньше никогда не заглядывал и которая находилась в противоположном конце от того центра, где вращалась вся наша жизнь в предыдущем году. Все прежнее будто скрылось из моих глаз. Мы поселились с одним нашим товарищем по гимназии в трех комнатках с окнами, выходившими не на воздух, а на закрытую стеклянную галерейку. Поэтому в них всегда был полумрак. Когда по галерейке мы выходили через калитку на улицу, то казалось, что мы живем в селе: домики были низкие, улица немощеная, с глубокими колеями. Осень выдавалась дождливая. Приходилось «месить грязь», пробираясь по длинной топкой площади к центральной части города. Однажды эта грязь даже втянула в себя одну из моих глубоких калош, и брат должен был купить мне новую пару.

Вокруг меня образовалась какая-то сиротливая тишина, потянулись однообразные, пасмурные дни. Дорога в университет и обратно неприятно поражала мое зрение. Из нашей узенькой и безмолвной улицы мы выходили на пустырь, окружавший реку, а затем направлялись через мост к университету мимо железных и москательных лавок с запахом перца и рогож и постоянно встречались с подводами, пересекавшими нам путь у въезда в какой-нибудь постоялый двор. Все это нисколько не походило на прежний знакомый нам город. Самый университет, когда я приближался к нему с этой стороны, казался мне унылым. Прослушав лекции, я опять спускался мимо тех же лавок к Нетеченскому мосту, и сердце мое сжималось, когда я шел через пустырь в нашу глухую улицу. Я подходил к знакомой калитке, как будто за нею меня ожидала низенькая тюрьма, и, пройдя через галерейку, я с холодною скукою нажимал железную скобку нашей двери. Те же три темные комнатки встречали меня своим душным молчанием. Затем мы шли обедать к хозяевам. Прямо из прихожей в их гостиной был накрыт стол, приставленный к окну и занимавший почти всю эту крошечную комнатку. За обедом всегда сидели неизменные члены семьи: сам хозяин, старик с густыми черными бровями, бритый, как актер, его жена, крепкая и подвижная баба с маслянистыми начесами, с большими, глупо-веселыми глазами и плоскою болтовнёю, их молодая замужняя дочь, маленькая бескровная блондинка с голубыми глазками и

довольно хорошенькими чертами лица, но с каким-то вялым и тупым выражением, и, наконец, супруг этой блондинки, человек лет за сорок, худощавый, с пробитым ртом, узенькими песочными баками на впалых щеках, крючковатым носом и сиплым голосом. Обыкновенно нам подавали жирные щи, кашу и жаркое, а по праздникам еще и сладкое… Хозяйка звучно щебетала за обедом какой-нибудь вздор, хозяин кротким голосом изредка вставлял свои неинтересные замечания, зять мрачно ревновал к нам свою беленькую молоденькую жену, а эта жена, с двумя жидкими коками светлых волос на лбу, в своей сеточке, скрывавшей кончики ее стриженной косы, сидела себе, маленькая, покорная и безжизненная, словно стеариновая.

После обеда мы возвращались в наши комнаты. И каждый день повторялось то же самое. Мой брат и мой товарищ нисколько не изменились; они по-прежнему бодро занимались своими предметами. А я чувствовал, что понемногу, с каждым днем все глубже, погружаюсь в какую-то непонятную тоску. Когда они по вечерам сидели за своими книгами или что-нибудь писали, я ходил взад и вперед по нашим трем комнаткам, заложив руки в карманы, и не знал, за что приняться. Ни к чему я не имел охоты. Я не видел никакой надобности так прилежно заниматься лекциями. Часто я ложился на кровать и смотрел в потолок, ожидая только, чтобы как-нибудь прошло время. На следующий день я опять шел в университет, молчаливый, равнодушный, будто лишний на свете. Ощущение постоянного, неподвижного холода подкралось к моему сердцу. Вся жизнь казалась мне гадким, тревожным и непонятным призраком. Все это надвигалось на меня так постепенно и так незаметно, что я не успел спохватиться, как это состояние завладело мною наконец вполне, и я уже чувствовал себя неизлечимым. Казалось, что даже во сне я продолжал утомительно думать о чем-то неразрешимом, и когда утром я раскрывал глаза, то, глядя с кровати на мое тусклое окно, выходившее на галерейку, я уже совсем не понимал, зачем мне нужно вставать, одеваться, пить чай и т. д. Но я продолжал делать все это с безмолвным, неприметным для моего брата и товарища, внутренним страхом и недоумением. Я старался вспомнить и определить, когда же именно я успел так непоправимо потерять прежний взгляд на жизнь, и утешал себя тем, что еще 8-го ноября, в день Михаила, на именинах брата и товарища, когда у нас была вечерняя закуска, я еще как-то умел забыться; болтал с двумя студентами и вообще хотя скучал, но разумно мирился с едою и разговорами. А теперь уже и это казалось недостижимым. Я возненавидел ту окраину города, где мы поселились. Все мои странные мысли так неразрывно

связались с этими переходами по берегу Нетечи к нашему домику, с нашими комнатками и хозяевами, что я приписывал этому воздуху и этой среде какое-то особенное, страшное влияние на мою душу. Дни чередовались, нестерпимо долгие и тяжкие, завлекавшие мою мысль все далее в ужасающее отрицание жизни. Никакая логика не помогала. То, что вступило в меня, казалось мне истиною. Перед тем черным и безмолвным призраком, который заполнил меня всего, от макушки до пяток, никакая повседневная мелочь не могла сохранить своего разумного значения. Помню, что однажды у нас, в субботу, вымыли полы и зажгли лампадки перед иконами. Блеск полов, запах мокрой тряпки и огоньки у образов вызвали во мне содрогание: я совсем потерял прежний смысл этих простых обычаев жизни. Наконец и брат заметил, что со мною «творится что-то неладное». Я почти не ел, и вот это именно его встревожило. Он считал потерю аппетита единственным верным признаком болезни и как-то сказал нашему товарищу: «Он мало ест – вероятно, он болен». Помнится мне и один из наших ежедневных обедов у хозяев. Все обратили внимание на мой мрачный вид. Добрый старик, муж хозяйки, заговорил своим мягким голоском, что все это у меня пройдет и что он еще надеется когда-нибудь получить приглашение на мою свадьбу. Эти простые слова показались мне тогда безумными. Я видел перед собою безысходное отчаяние; мои давнишние мечты о женщине совсем исчезли; я вспоминал, как о няниной сказке, о тех непонятных минутах, когда я поцеловал Машину руку; я видел теперь ясно, что в жизни ничего нет и быть не может и что моя свадьба, среди веселых гостей, с какой-то неизвестной красавицей, конечно, была бы с обычной точки зрения счастливым и завидным событием, но я до такой степени не был в силах вообразить себе что-нибудь подобное, что мне оставалось только сонно и горько улыбнуться в глубине моей души, слушая эти речи хозяина. А там, в моей душе, было тесно, холодно, безутешно – ужасно. И никто этого не видел… Я чувствовал, что маска печали застыла на мускулах моего лица и сковала их с такою силою, что никакое одушевление не могло их расправить. Глаза мои горели беспокойным огнем утомленной мысли. Не понимаю, как это я еще сохранил способность жить, не видя решительно никакого смысла в моем каждом следующем шаге, в каждом действии, в каждом слове… Чем дальше, тем больше поддавался я этому захватившему меня состоянию. Если мне и случалось забываться в полусне, то сейчас же по возвращении сознания я с бессильным горем повторял себе: «Этот ужас со мною…» И еще легче всего мне было, когда я лежал на кровати: тогда я не двигался и заставлял себя думать, что переношу какую-

то тяжкую болезнь. Но затем опять наступало время, когда я должен был держать себя наравне со всеми здоровыми, и это было невыносимо… У меня рябило в глазах и тупая тревога замирала на душе, когда я входил с толпою студентов в аудиторию. Я делал вид, что слушаю профессора, а мне решительно ничего не было нужно… Иногда, среди лекции, я старался припомнить что-нибудь простое, радостное, прежнее из моей жизни в семье, – например, когда еще на последних каникулах мы как-то возвратились ночью из городского сада и отец вынес нам из своего кабинета разные вкусные вещи, и мы, все братья вместе, так дружно лакомились при свече, весело оглядывая скатерть и тарелки… Но теперь я не понимал и этого!..

Я не рисковал зайти ни к кому из прошлогодних семейных знакомых. Я знал, что мне будет с ними слишком мучительно, потому что я к ним войду с «этим» и не сумею им объяснить, что со мною сделалось, и не смогу держать себя так, как они ожидают.

Все погибло! И все так страшно вошло в меня, что помощи уже ниоткуда не было видно… К чему я? Кто меня держит? Кто терзает мои мысли? Как отвратителен, и мелок, и тяжек этот ненужный базар жизни!

И это продолжало тянуться неизменно. Брат написал наконец домой, что мне следовало бы для поправления здоровья провести рождественские праздники в семье. Пришло разрешение. Мы собрались в дорогу и поехали. Я сел в кибитку, как автомат, внутренне пугаясь того, что я повезу с собою все это новое горе в ту обстановку, где живут самые близкие мне люди. Если они не поймут, тогда уже мне не останется никакого спасения. Но, впрочем, я и не думал о спасении. Я был беспомощен и знал это и сидел в кибитке рядом с братом с тем же неподвижным лицом, с каким лежал в наших комнатах на моей кровати. Ничто не нужно – ничто не понятно… Помню, что в середине дороги, на одной из станций, перед рассветом, ямщик при фонаре, поставленном на снег, долго и усердно возился с упряжкою пристяжной. Из открытого поля мне дуло в лицо холодным воздухом. Я впился глазами в этого крепкого человека, так серьезно и так значительно занятого в потемках своим, по-видимому, ничтожным делом ради того только, чтобы мы могли ехать дальше… Значит, это нужно… Ведь вот он не размышляет, но по всему видно, что то, что он делает, необходимо?.. О, если бы что-нибудь было необходимо!.. И, кажется, действительно, вся эта жизнь вне меня есть что-то слишком сильное… И вот, например, мы с братом едим теперь холодные пирожки… Может быть, так надо… Может быть, я еще когда-нибудь возвращусь ко всему

этому…

Когда затем мы вошли в родной дом и меня встретили знакомые добрые лица, когда матушка, проведя рукою по моему лбу, спросила меня со спокойною улыбкою: «Что с тобой?» – я сразу сконфузился, не находя никаких слов, чтобы передать мое страдание. Я только тихо проговорил, наклоняя голову и целуя ее руку: «Мне очень скверно». Но я чувствовал, что мой внутренний страх и моя непоправимая черная печаль никому не видны; что я всем им кажусь прежним, таким же, как был. Все эти родные фигуры, наполнившие комнату, обдавали меня какою-то успокоительною теплотою; я со всеми здоровался, переходил с места на место и сознавал, что я с виду точно такой же, как и они; мои шаги звучали на полу, как шаги отца и братьев; я все слышал и на все отвечал впопад. И тут же я совсем растерялся, как бы застигнутый врасплох в моем мучительном бреду этою моею прежнею жизнью, которая ни в чем без меня не изменилась и принимала меня в свою привычную обстановку как своего, как равного. Эти первые минуты встречи сразу дали толчок в самое нутро моей души. Я испытал нечто похожее на то, как если бы меня вдруг кто-нибудь выхватил за шиворот из реки, в которой я захлебнулся. И хотя во мне назойливо шумело то же самое, глубоко застрявшее во мне, отчаяние, – и сердце мое сжималось от страха и глаза смотрели вокруг, – но мне впервые поверилось, что все это может когда-нибудь (о, еще нескоро!..) отступить от меня. Я напряженно следил за собою с часу на час. Я уселся в комнате матушки, слушал ее и смотрел, как она шьет и кроит. Туда заходили братья и рассказывали мне разные новости, начиная со слов: «А ты знаешь?» и т. д. Все это было для них важно, и я поневоле втягивался в их интересы. В столовой застучали тарелки. «Неужели я сегодня сяду за обед, как бывало, – без глубочайшего сомнения в его необходимости, без напрасной муки насчет его ненужности?» И я сел, как другие, и хотя во мне дрожала та же безобразная тоска, но я старался приноровиться к общему тону и настроению, я выбирал куски, когда мне подносили блюдо, вмешивался в разговоры и подумывал о том, как сейчас после обеда зажгутся свечи и начнется вечер такой же понятный, как все наши вечера в семье.

Была ли это болезнь, я не знаю. Наш домашний доктор, опытный старик, знавший каждого из нас с малолетства, нашел все это пустяками, предсказав несомненное поправление, и только почему-то посоветовал мне есть поменьше мяса. Так или иначе, но с первого же дня моего приезда в семью я начал как бы ощупью искать возврата к обычному состоянию. Но я налаживался с чрезвычайными усилиями и с поразительною

медленностью. Та страшная и мертвая река, в которой я чуть было не захлебнулся, выпустив меня из своих объятий, еще долго и сердито грозила мне издалека… А того, что я видел под ее волнами, я никогда не забуду.

После рождественских праздников, проведенных в семье, я убедился только в одном: что можно, с помощью непрестанно напряженной власти над своим воображением, понемногу возвращаться назад, к обычной жизни, из тех ужасающих областей мысли, которые раскрылись передо мною в наших комнатках за Нетечею.

По моей просьбе, брат уже туда не возвратился. Он нанял нам комнату во дворе большого неоштукатуренного дома на одной из тех главных улиц, на которой стоял опустевший Сомовский дворец. Комната была совсем простая, но довольно высокая, только что выбеленная, с дощатым полом, – она ничем не походила на наше прежнее жилище. Я трусливо поджидал: как мне удастся мой первый выход в университет? Произошло это так: я спустился с лестницы, прошел через двор, мимо внутренних высоких стен здания, и вышел из-под ворот на тротуар широкой нарядной улицы. Вдали виднелась терраса, ведущая на «университетскую горку». Все это сразу напомнило мне жизнь первого курса, и я крепился, сколько мог, чтобы не выскочить из приливавших ко мне впечатлений того приятного и спокойного прошлого. Это первое посещение университета прошло настолько удачно, что на следующий день я уже мог поддерживать себя вчерашним примером. И так постепенно, обуздывая свои мысли, я работал с медленным, но верным успехом над возвращением своим в «колею». Мы проводили время в тех же однообразных занятиях; жизнь наша была такая же тихая, без всяких развлечений. Но я радовался уже тому, что когда вставал утром, умывался или молча пробегал записки, то не чувствовал на мускулах своего лица никакой безотрадной маски. Более всего я заботился о том, чтобы среди самых бесцветных подробностей жизни лицо мое сохраняло вполне удовлетворенное выражение и чтобы моя мысль никогда не забиралась в такие вопросы, от которых может «ум вскружиться». Этим способом я угомонил себя только к весне.

В конце февраля разнеслась весть, что в Харькове будет сделана однодневная перепись всего населения при посредстве студентов. Каждый из нас получил из полиции множество серых листов с печатными вопросами-графами. Мне был назначен участок из пятнадцати мещанских и крестьянских дворов на Холодной Горе. Перепись должна была состояться первого марта. Я был очень доволен, что от меня требуют чего-то важного, и мне

нравилось, что вся молодежь в этот день, в те же самые часы, рассыплется по всему городу. Я оживился и готовился к этому дню.

День был яркий, солнечный и веселый, несмотря на лежавший на крышах снег. Я отправился по нашей улице далеко-далеко, в противоположную сторону от университета, за город. Мне приходилось подниматься в поле. В кармане пальто я с гордостью ощупывал пачку моих бланков. По мере моего восхождения на Холодную Гору, постройки редели, а снег на всей земле вокруг делался пышнее и выше. Но сильное солнце разрыхляло его и повсюду слышался шум ручейков. Назначенная мне улица оказалась почти на самой вершине; она состояла из реденького ряда избушек между высокими сугробами. Все эти избы покорно раскрывались перед моими листками. Жители были добродушные и покладистые. Нигде я не встретил ни особенной нищеты, ни горя. В некоторых домах мне выражали тревогу по поводу переписи, но я всех успокаивал, что это делается только ради того, чтобы узнать, сколько может быть в Харькове живых людей в один день. И мне верили. А солнце ниспускало на снег миллионы лучей. Я замечал, что пока я заполнял мой листок в каком-нибудь домике, уже по выходе из него белый сугроб перед окнами успевал уменьшаться на половину. Щеки мои разгорелись. Я исправно исполнил поручение и возвратился в нашу комнату вполне успокоенный, как бы после настоящего хорошего дела.

С этого дня я и признал себя, насколько возможно, исцеленным. Вскоре понадобилось готовиться к экзаменам. Запоминание литографированных лекций наполнило мое время. Я принялся за эту работу, как если бы мне было прописано делать столько-то верст пешком каждый день. Все готовились – и я тоже. Это был своего рода спорт; память у меня была свежая, да и записки не содержали ничего мудреного.

Собирались мы по два, по три человека на разных квартирах, сидели по ночам, поддерживая себя чаем, один читал, другие – запоминали. Я проникался настроением товарищей. Они имели вид, что все их счастие зависит от успеха; для некоторых это заучивание было настолько мучительно, что я готов был передать им способности, которые мне самому казались излишними. Юриспруденция меня не увлекала, а многие ее отделы даже забавляли меня комически важным изложением разных пустяков, известных всем и каждому. Но я уже решил во все это не вмешиваться. Я твердо запомнил, что над самыми важными вопросами вовсе нельзя задумываться, потому что даже цель жизни никому неизвестна.

Моя мысль, от первых моих сознательных дней, казалась мне беспредельною, способною постигать самого Бога и слышать его голос внутри моей души. Но эта мысль, по мере того как я вырастал, уже столько раз и так больно ударялась о страшные мертвые стенки, что и сама чуть не погибла. И под конец мне стало все равно. Я только думал, что все видимые и угадываемые бездны доступной нам вселенной все-таки еще ничтожны. Я замечал, что во всем наблюдается известный ритм, какой-то однообразный закон, какая-то неволя. Глаз и ум теряются от неведомых богатств земли и от целого вихря небесных миров – это правда, но и на земле, и там, в этих безднах неба, царит, в сущности, томительное однообразие. У нас, например, на земле: рождение и смерть, день и ночь, время года, способ размножения, – ведь это все монотонно, как бой часов на каторге! Хоть тресни, одно и то же! А там, в этом видимом, хотя и бездонном небе? Точно так же: все шары, шары и шары, – без конца, и все эти шары связаны однообразнейшим законом притяжения. Какое рабство для Бога, какая бедность вымысла для беспредельной идеи! Все это действительно громадно, так громадно, что мы только ужасаемся своему ничтожеству. И однако же наша мысль по природе своей неизмеримо свободнее этого заповедного, непререкаемого рисунка Вселенной. Как! Один только неисчислимый огненный бисер, рассыпанный в голубой беспредельности? И так до бесконечности? И больше ничего?! Нет, этого мало.

Но все равно: я знал, что никакого ответа на эту загадку не последует. Поэтому необходимо было приспособиться к тому микроскопическому масштабу, в котором вращалась моя жизнь. И я это сделал, и ничего… жил.

Мои экзамены сошли удачно. На лето мы остались в городе поджидать семью, которая вскоре и приехала к нам в полном своем составе, так как оба младшие брата уже окончили гимназию. Нанят был на Сумской улице белый домик в три окна, с зеленою железною крышей. В небольших комнатах появились родные мне вещи: стенные часы, портреты, клеенчатые коврики на столах и т. п. Матушка умела убирать квартиру просто, но уютно. И когда наступила осень, то я ходил в университет уже прямо из дому, точно так же, как прежде ходил в гимназию.

Что-то чуждое мне наблюдал я в том, как складывалась на моих глазах жизнь моих современников. Они казались мне чрезвычайно самонадеянными, смелыми, как бы слепыми. Я еще раньше читал, как Ренан развенчивал моего детского Христа; теперь Писарев, при общих рукоплесканиях, вышутил Пушкина. Все, что было мечтательного в моей натуре, пристыдилось и

съежилось. В русской поэзии славился тогда Некрасов. Но когда при мне кто-нибудь из молодежи декламировал его самые модные вещи, я оставался холоден к грубому, тяжеловатому некрасовскому языку и думал про себя: «И зачем это говорится стихами? Уж лучше бы прозой!» Во всех романах «душа» заменилась «мозгом». Всюду царствовали «положительное знание» и «материя». И мне было до слез жалко моего Единого Бога с Его простым сотворением мира, с Его незабвенными Адамом и Евой и первыми «земледельцами»… А кроме того, еще совсем недавно: Гёте, вопрошавший «Всесильного Духа», Байрон, грозивший небу, гармоничный, пылкий, душевный и глубокий Лермонтов с его «Демоном», с его взыванием к облакам и звездам, – куда же все это девалось?..

В сущности, ничего не было проще, как попасть в тон моим современникам. Но мне было просто скучно среди них.

Однако же мне предстояло идти в ту самую жизнь, которая должна была окончиться смертию, и, выйдя в эту жизнь, – начать «дело делать»… Какое же дело избрать? Что нужно было от меня людям? Нужно счастие… Могу ли я его дать? Кто его, ранее меня, дал? Никто. Улучшить для других препровождение самой жизни? Уменьшить недуги, нищету? Да ведь вовсе не в этом вопрос… Наибольший счастливец будет все-таки несчастен перед смертию, и наибольший страдалец будет всегда счастлив, если только ему докажут, что его душа не погибнет. А разве я могу это доказать?..

Все это, конечно, само собою отошло в сторону, или, вернее, засело во мне без всякого разрешения, потому что я невольно привязался к окружающему, хотя бы и с недоумением, хотя бы и без радостей.

А вскоре наступила и радость… Я полюбил девушку, увиденную мною однажды из наших окон на улице. Описывать эту любовь я не стану, потому что любовь так же «сильна, как смерть», а я избрал только вторую тему. Скажу только, что с этой минуты жизнь для меня сразу наполнилась и упростилась. Я видел перед собою только одну цель: эту девушку. Моя избранница имела такие же средства, как и я, т. е. жизнь в своем родительском доме и больше ничего. Препятствия между нами казались неодолимыми: я еще не доучился; я не умел ничего зарабатывать; я всегда терялся вне моей семьи; я сам не знал, зачем я живу. Но любовь погнула все эти препятствия, и я поступил по апостольскому изречению: «оставит человек отца своего и матерь свою…» Я бездомничал два с половиною года, ютился у товарищей, голодал, доискивал первого обеспечения и нашел его.

Одновременно с началом моего романа появилась в нашем

городе и судебная реформа. Я еще тогда жил у своих. Большой трехэтажный дом «присутственных мест», против собора, всегда имевший вид немого и недоступного здания, вдруг получил для всех такой интерес, как если бы в нем заготовлялось самое любопытное публичное зрелище. Съехалось из Петербурга и Москвы множество новых, большею частию молодых и возбужденно обрадованных чиновников. Печатные книжки «судебных уставов» – в особенности между нами, юристами, – ходили по рукам. Говорили о «правде и милости», о том, что мы теперь услышим настоящих ораторов. В приложении к уставам были напечатаны таблицы новых должностей, и против каждой должности были проставлены цифры чрезвычайно щедрого, сравнительно с прежними порядками, жалования для этих приезжих судебных деятелей. Отец удивлялся, что такие молодые люди, прямо со школьной скамьи, будут получать такие деньги. Он вспоминал свою службу и подумывал о своих сыновьях. Он считал невероятным, чтобы кто-нибудь из нас, а тем более я («рассеянный, способный потерять самое важное дело на улице»), мог достигнуть до получения одного из этих служебных мест.

Открытие нового суда состоялось в верхнем этаже здания на соборной площади. Все там было свежее, выбеленное, лакированное. Судебные залы напоминали театры, потому что в каждой из них была эстрада, обтянутая серым сукном, с красным столом на возвышении, а места для публики были отделены решеткою от сцены суда. Сенатор, т. е. сановник, никогда ранее не виданный в провинции, в своем эффектном пунцовом мундире с богатейшим золотым шитьем, провозгласил после молебствия введение реформы.

Новое судебное разбирательство, когда я впервые его увидел, сидя в густой толпе за решеткою, сразу захватило меня своими торжественными формами и живым содержанием. На моих глазах восстановлялось, во всей своей правде, одно из повседневных людских несчастий, которое нужно было так или иначе разрешить. Судьи казались высоко превознесенными над жизнию, как боги на облаках. Каждому невольно думалось, что они, по самой природе, освобождены от всяких погрешностей и пороков. Все обращались к ним не иначе, как вставая с своих мест, и когда они что-нибудь объявляли, то их определение раздавалось в зале, как приговор судьбы. Общий тон всех воззваний к суду и всех ответов суда был проникнут самым изысканным благородством и самым чистым стремлением к справедливости. Понятно поэтому, что все актеры судебной сцены весьма скоро сделались любимцами публики.

Здесь же впервые возникла и репутация молодого товарища

прокурора *Кони.* Это был худенький, несколько сутуловатый блондин с жидкими волосами и бородой, с двумя морщинками по углам выдающихся извилистых губ и с проницательными светло-карими глазами, не то усталыми, не то возбужденными. На улице, в своей демократической одежде и мягкой круглой шляпе, он имел вид студента, а на судебной эстраде, за своим отдельным красным столом, в мундире с новеньким золотым шитьем на воротнике и обшлагах, – когда он поднимался с высокого кожаного кресла и, опираясь на книгу уставов, обращался к суду с каким-нибудь требованием или толкованием закона, – он казался юным и трогательным стражем чистой и неустрашимой правды. Он говорил ровной, естественной дикцией, не сильным, но внятным голосом, иногда тем же мягким голосом острил, вставлял живой образ, – и вообще выдавался тем, что умел поэтически морализировать, почти не отступая от официального тона.

Судебные деятели входили в моду по всей России. Газеты были переполнены отчетами о процессах. Самые незначительные речи приводились целиком. Шумели новые имена. Повсюду между обвинением и защитой происходили публичные состязания в благородстве чувств, в правильном понимании закона и жизни, в остроумии, в блеске фраз и в постижении тончайших изгибов души человеческой. Прокуратура щеголяла беспристрастием; защита брала изворотливостью и патетикою. Какой-нибудь товарищ прокурора прославлялся за великодушный отказ от обвинения или за освобождение неправильно задержанных арестантов; а рядом с этим адвокат делался героем за искусное вышучивание полиции или за смелую выходку против председателя суда, еще не успевшего усвоить какого-нибудь широкого и человеческого начала уставов. Все это дышало возбуждением и поневоле казалось привлекательным. И потому наиболее художественные натуры из всего народившегося свежего поколения ушли в судебную деятельность. И нужно правду сказать: в судебных речах встречалось в то время более лиризма, психологии и красоты, нежели во всей беллетристике (исключая писателей старшего поколения). Оно и понятно: под сенью Бога, именем Которого клялись на суде, – под угрозою совести, которая была провозглашена основным началом судебного решения, – участники процесса влагали в свое дело весь наличный запас душевной теплоты, всю силу своей затаенной сердечности в то самое время, когда литература тщательно избегала чувствительности и только всеми силами настаивала на важности разных практических нужд.

Это возбуждающее течение отчасти увлекло и меня. Но это

было только «аксессуаром» – благоприятною обстановкою. В действительности же для меня в то время существовала только моя невеста, которая наполняла собою весь мир и о которой я день и ночь думал.

Мысль о смерти как-то затушевалась, хотя и не покидала меня совсем. Назову три случая, чуть приметно смутивших мое радостное обращение к жизни.

В обществе моей невесты мне довелось встретить одну молодую девушку из богатой купеческой семьи – свеженькую, миловидную, с белым личиком, красивым бюстом, вздернутым носиком, голубыми глазками и черными волосами, зачесанными от лба гладко, по-китайски. Я видел ее всего раз на танцевальном вечере, когда она плавно двигалась в кадрили, тихая и счастливая, с ямками на улыбающемся лице. Потом я узнал, что она схватила болезнь, сидя на скамейке университетского сада в один из свежих вечеров ранней весны. И я, поглощенный моей любовью, успел только удивиться тому, что в университетском саду, в котором все мы бывали, скрывалась такая ужасная опасность и что все, кроме этой несчастной девушки, как-то сумели остеречься на тех же дорожках сада от неминуемой гибели…

В Харькове проживало одно состоятельное помещичье семейство. Родители были старые, а дети – взрослые. Один из сыновей и его кузен были в мое время студентами. Я дружил с ними и встречался в «свете». Поэтому бывал я и в гостеприимном доме этой семьи, где кузен был только приходящим, как и я. Отец был стриженный высокий старик с красным лицом, длинным носом и глубокими морщинами на лбу. Жена его была маленькая, седая, в блондовом чепце и по большей части в сером платье с длинной пелериной. У них подавались вкусные обеды, велись простые разговоры. Все дети были необычайные, почти седые блондины: двое барышень, гусар, затем мой товарищ и, наконец, младший сын, белобрысый гимназист. Кузен был тоже блондин, но только менее светлой масти, и потому его прозвали в обществе «сереньким», в отличие от его «беленького» двоюродного брата. Говорю я об этом кузене, потому что он мне особенно нравился. Это был скромный юноша с чистым сердцем, недоверчивый к себе, одинокий, всегда тщательно одетый, занимавшийся математикой и музыкой, – словом, грустный идеалист.

В то время когда развивался мой роман, я узнал, что старушка, Глафира Ивановна, заболела и что у нее нашли рак. Я не хотел этому верить и с некоторым страхом навестил ее. Она была еще на ногах, но большею частью сидела на кушетке или в кресле. На ней были тот же блондовый чепец и серая пелерина.

Лицо ее, несколько пожелтевшее и присохшее, в сущности, мало изменилось – и я недоумевал, где же это у нее под платьем тот рак, о котором все говорят с отчаянием! Она, по-видимому, не примечала опасности, хотя и жаловалась на нездоровье. А между тем за ее спиною все родные твердили, что ей, по приговору докторов, осталось прожить не более трех месяцев. Я смотрел на нее и думал: «Как это в последующие дни болезнь примется за нее с возрастающею силою и станет ее приканчивать?..» Мне все не верилось, что это непременно случится. И вот весною, когда я совсем перестал думать о Глафире Ивановне, в один из обворожительных солнечных дней, мне попался на улице «кузен» и сказал глухим голосом, с трагическим жестом куда-то в воздух, что вчера она скончалась.

Он говорил, что сцена смерти была потрясающая, что умирающую вынесли на кровати в залу, что вокруг нее многочисленные родственники плакали, стоя на коленях, а она со стонами слушала отходную молитву священника и тускнеющими взорами со всеми прощалась… «Это было величие, ни с чем не сравнимое!..» – заключил он тем же глухим голосом, с глазами, полными слез, и с безутешным выражением лица. И, крепко пожав мою руку, он пошел к себе домой с опущенною головою.

Я был в церкви на выносе тела. Вечернее солнце ярко горело и врывалось в храм с тлеющим весенним воздухом, который приливал пахучими волнами из широко раскрытых дверей. У меня в кармане было письмо от невесты. Ни восковая голова Глафиры Ивановны, ни вопли погребального звона, ни прощание с телом траурной толпы родственников не удержали меня от того, чтобы по выходе из церкви тотчас же, на улице, вынуть из кармана драгоценный листок и впиваться с радостью в каждую букву. Сердце мое прыгало от счастья, и какая-то всемирная, бессмертная теплота жизни внятно говорила мне, будто все виденное мною нисколько не может омрачить моего личного будущего…

Я уже говорил, что мне приходилось ютиться у товарищей. В это трудное время однажды мне пришлось поселиться у серенького кузена. Он занимал комнату в квартире одного из нотариусов. Мы постоянно слышали, во все часы дня, свирепый, неотступный кашель за дверью. Больной задыхался в напрасных натугах отхаркаться. Этот больной был сам нотариус. Он давно уже не вставал с кровати. Иногда был слышен его слабый разговор – два-три слова, не более; видно было, что его единственное занятие состояло теперь только в том, чтобы лежать и кашлять. Он умер как-то ночью, когда мы оба молча читали при лампе, каждый порознь, свои записки. За дверью послышалась

тихая беготня, а затем раздался жалобный, испуганный плач разбуженных детей. Когда мы встали на другой день, то дьячок уже читал псалтырь над умолкшею жертвою беспощадного кашля. Рассказывали, что утром в день своей смерти больной почему-то выразил желание сбрить бороду, отросшую у него за последние месяцы… Помнится, мне было особенно странно, что покойник был «нотариус» и что в этом именно звании он переселился в жизнь вечную…

Вот и все печальные случаи, пробегавшие легкими тенями в те дни над моею жизнью.

После долгих мытарств я через год по сдаче выпускного экзамена получил наконец место по рекомендации *Кони,* который в то время был уже переведен в Петербург. Его депеша о том, что я «назначен», застала меня в одном из моих скитальческих приютов. Это было для меня полною неожиданностью. Я был как в бреду и невольно прослезился, истомленный молчаливою безнадежностью. Неужели это правда? Неужели там, где-то вдалеке, без моего ведома, кто-то спас меня еще несколько дней тому назад, и спас, вероятно, навсегда? Значит: я теперь – власть!.. Уже от меня зависят люди и еще не знают об этом… И вот какое-то важное чувство тотчас же подняло меня в моих собственных глазах, и я по-детски радовался тому, что я все-таки намерен быть милостивым, простым и скромным. Сердце мое трепетало от сознания какого-то большого выигрыша в жизни. Эта удача отражалась и на обращении со мною всех тех, кто узнал о моем назначении. Я осязательно чувствовал на себе какое-то «помазание», но тем более выказывал добродушия в сношениях со всеми. И когда я лег спать, то мне казалось, что даже моя комнатка в безмолвии ночи относится с особым почтением к тому пространству, которое занимаю я, я – чиновник, лицо, которое может что-нибудь подписать вот этою самою рукою, засунутою под подушку, – и ничего не поделаешь: нужно будет покориться…

Но главное: теперь была достигнута мечта сердца. Неужели я женюсь? О, как я был измучен!.. Я был так измучен, что мною наконец овладело равнодушное, тупое утомление, и я только сказал себе: да, вероятно, будет счастье.

И то, что казалось для меня безумным предсказанием в начале этой главы, случилось на самом деле. Я поехал в Петербург, куда еще задолго перед тем переселилось семейство моей невесты, и женился. Свадьба была скромная, но изящная. Моим шафером был Кони, и когда, после венчания, он чокался с моею новобрачною, он сказал ей: «Желаю вам столько счастливых дней, сколько искрится пузырьков в этом бокале».

Моя подготовительная жизнь была окончена, началась жизнь

деятельная. Образовалась моя отдельная семья, мой дом. Пошли дети…

И вот теперь эта жизнь начинает сворачиваться к концу… Как все это случилось быстро и как было ничтожно… Все биографии, еще в детстве, когда я читал Плутарха, были мне отвратительны своею однообразною развязкою. Еще моя жизнь прошла хоть несколько на виду: мое имя попало в печать. Но разве это что-нибудь значит?..

Мне кажется, здесь можно прервать историю моей души. По истечении двадцати с лишком лет я могу сказать:

«Каков я прежде был, таков и ныне я».

Быть может, этот пробел в биографии со временем пополнится воспоминаниями. Но мне иногда представляется, что все, что я до сих пор сделал, косвенно годилось лишь для того, чтобы я имел некоторое право написать эту книгу.

Буду записывать мысли, текущие события, воспоминания – и все в той же окраске вечного вопроса – вечного призрака смерти.

Часть вторая

Задумал я эту книгу в 1891 году и тогда же написал предисловие. Но оно еще долго оставалось в пустой тетради, и только в следующем году я уже начал заметки, которые помещаю ниже. Этим заметкам я нашел нужным предпослать законченные здесь пять глав.

I

Когда бываешь на улице, при свете солнца, среди людей, или сидишь в комнате и разговариваешь и осматриваешься вокруг, то иногда вдруг скажешь себе: «Все это прекрасно… Но на какой собственно сцене все это происходит?.. Как это мы на нее попали и как выйдем? И как это все нарисовать себе, чтобы ясно определить свое положение во Вселенной? Известно, что Земля только песчинка среди прочих миров, которые тянутся от нее во все стороны до бесконечности. Но нам-то до этого никакого дела нет. Откуда-нибудь, конечно, видно, что все мы неприметно ничтожны, но у нас на земле есть свое величие – дворцы, парламенты, цари, гении… Что же это такое? Наваждение? И где же умерший? Под нами, над нами – или нигде?..»

И когда обо всем этом подумаешь, то вдруг, в течение нескольких секунд, на душе сделается так странно и неловко, что хоть с ума сходи.

Один ученый очень просто определил это состояние: он его назвал «изумлением перед собственной психикой».

II

Представим себе, что где-то на свете прожило тридцать столетних старцев, из которых каждый предыдущий умирал в день рождения последующего. Сложив вместе их жизни, мы получим *три тысячи лет,* т. е. углубимся в самую далекую-далекую древность, более чем за тысячу лет до Рождества Христова… Всего тридцать человек – и уже почти не видно истории…

III

В прежнее время, когда умирал мой знакомый, то самый день, предназначенный для его смерти, самая минута его кончины, получали для меня особое, роковое значение. Мне думалось: «Итак, он умер двадцатого марта, в понедельник, в семь часов вечера… Вот она, минута, издавна ожидавшая его и которой он никогда не знал. Этот час во всю жизнь не смущал его; он не подозревал, что именно на этом положении стрелки застигнет его смерть; понедельник ничем не отличался для него от других дней; и даже двадцатое марта не вызывало в нем никакой перемены. (Я помнил ясно, как он провел этот день в прошлом году). А если бы он знал?..»

Для каждого из нас есть такое число, и день, и час, и минута.

Праздные мысли. В природе нет чисел. Календарь выдуман людьми. Прошлое проходит, время идет вперед – вот и все. Дни не повторяются, и они, сами по себе, не могут праздновать своей годовщины, потому что ни один из них не видал себе подобного. Все похожее и, однако же, все новое, новое, новое – никогда еще небывалое – творится в мире.

IV

Еще пугали и огорчали меня такие мысли: ведь вот где-нибудь уже есть дерево, которое пойдет мне на гроб? Где оно? Растет ли еще в лесу или уже распилено на доски? На какую отвратительную близость мы оба с ним осуждены. И, однако, мы друг друга не знаем. Или: гробовщик, который снимет с меня мерку, – ведь он уже есть, он где-то ходит, этот мужик… И материал на уродливые мертвецкие башмаки уже давно готов. И все это от меня где-то спрятано…

Но это уже совсем вздор. Все это можно себе заранее приготовить по примеру схимников или Сары Бернар… Наконец, есть сожжение трупов… Наконец: не все ли равно?..

V

Зачем на окоченелые трупы надевают костюм живого человека? Что может быть прискорбнее и бессмысленнее мертвой руки, всунутой в накрахмаленный рукавчик? Не гадки ли все эти сюртуки и брюки, распределенные по различным ямам Волкова, Митрофаньевского, Смоленского и других кладбищ? Смерть так противоположна жизни, что она вопиет против всякого навязывания ей житейских принадлежностей. Естественен только нагой мертвец – такой, каким он родился.

VI

Статуя поэта на площади города, портрет умершего писателя в окне магазина всегда с каким-то жутким чувством заглядывает в душу, еще волнуемую горестями, тревогами и противоречиями жизни, злобою или радостью текущего дня. Их головы кажутся живее всего живущего. Влюбленная чета останавливает на них с дружелюбным чувством свои счастливые взоры и на миг заглядывает в вечность… Человек, близкий к самоубийству, встречая их образ, невольно бледнеет от страха перед своим ничтожеством.

VII

На похоронах великих людей – например, Виктора Гюго, Достоевского, Тургенева, – их близкие и друзья должны были испытывать странное отупение перед этим океаном толпы, который заливал их личное горе своими волнами. И, быть может, эта бесчисленная толпа вызывала в них ропот небывалой ревности от сознания, что покойный, в сущности, вовсе им и не принадлежал…

VIII

Помню, как однажды, потрясенный известием о кончине дорогого человека, я должен был вечером куда-то съездить и сел в конку. Сырой ветер пахнул в дверь вагона; кондуктор, при свете лампочки, оторвал мне билетик с розовой катушки; на билетике был напечатан номер и еще какое-то правило мелким шрифтом. Я закутался от ветра; я посмотрел на свой номер и прочел правило; мне был неприятен запах керосина в тусклой лампочке кондуктора. Но я содрогался именно от того, что я во всем этом так привычно разбирался. А между тем: что такое ветер? номер? лампочка?..

Если бы можно было спросить об этом мертвую голову?

IX

В другой раз я ехал в кресельном вагоне первого класса. Мы плавно неслись. Ковер был у нас под ногами; газ приятно светил сверху. Вблизи меня красивый старик, приколов подсвечник к бархату стены, читал книгу и умно улыбался; румяный заграничный коммерсант дочитывал перед сном плохо напечатанный немецкий листок. На сетчатых полках лежали наши вещи.

И вдруг мне подумалось, что мы неприметно можем раздавить какого-нибудь самоубийцу или пьяного пешехода. Это будет делом одной секунды. До этой секунды – если бы как-нибудь удалось предотвратить катастрофу – и этот несчастный понимал бы все, как и мы понимаем. Но – *после!* Чемоданы, пледы, папиросы, буфеты станций, наши замыслы, наши самодовольные разговоры, дама, едущая к мужу, политика Германии… Да, всего только один толчок под нашим ковром…

X

Жизнь и время – одно и то же. Только смерть не знает времени. Только сосчитав время, можно судить и видеть, как неустанно, неприметно и постоянно работает жизнь… Оглянитесь назад: как все изменилось! Вы привыкли к тому, что заведенный порядок как будто уже вошел в колею, да таким и останется… Какое заблуждение! Все у вас понемногу отнимается, все чистится, переменяется.

Но всего горестнее в этой неустанной смене старого, в этой погоне за новым, что сам себя начинаешь находить прискучившим. Иногда чувствуешь, что твой голос, твой язык, твои взгляды, твоя оценка людей и жизни, твой своеобразный и для других интересный гений, твоя внутренняя, неслышная речь к миру, – все это тебе самому уже не по вкусу, что ты готов бы переменить самого себя, в угоду суете обновления… И опечаленное, пристыженное сердце, из своей недостижимой глубины, с горечью спрашивает: что же делать?.. Куда деваться?..

XI

Во сне происходят со мною события совершенно невероятные, и однако я ими нисколько не смущаюсь. У меня нет ни угла, ни близких, ни семьи: мне все равно. Но мои основные свойства – все налицо. И мне точно дана какая-то льгота обнаруживать их без всякого стеснения. Покойники оживают, и у меня остается к ним теплое чувство, вполне соответствующее моей затаенной привязанности к ним. Какая-то неведомая женщина вдруг угадывает все мои вкусы – и сердце бьется любовью к ней, хотя бы наяву у меня были другие, незаменимо близкие женщины. Самые нелепые положения никогда, однако же, не расходятся с моим сердцем. Сновидение слагается мучительно – и тогда я страдаю вдвое: я забываюсь от стыда, горя, бессилия. Но если оно мне благоприятствует – то я получаю непередаваемые радости: я достигаю всего, что люблю.

Из этого можно было бы вывести великую мораль: не будьте узки; будьте свободнее от повседневных пут вашей жизни. Но берегите в чистоте свое внутреннее чувство и оставайтесь верными ему. Только оно одно и остается в вас живым. А оно, это затаенное чувство, всегда бывает чистым у каждого: вспомните только все ваши невольные слезы, остающиеся на ваших глазах при пробуждении.

XII

Сколько бы ни думалось нам, что все горестное проделывается, только с другими, а что вот я и мои близкие никогда этому не подвергнемся, но все то же происходит решительно со всеми в свою очередь. И странно, до чего просто миришься впоследствии с тем, что прежде казалось невозможным.

Старик… Право, глядя со стороны на стариков, казалось, что это какие-то загримированные карикатуры на сцене жизни. Чтобы когда-нибудь пришлось и самому дойти до такого внешнего вида (совсем белые волосы, резкие, отвислые морщины, ввалившийся рот, очки, горб) – да это представлялось невозможным.

Мало того. Вот уже почти ваш сверстник – здоровый и веселый человек – жалуется вам, например, что его зрение ослабело, что он плохо видит вблизи, видит нечто неопределенное и – не разбирает… А вы смеетесь. Вы думаете, что это мнительность или предрассудок. Вы совершенно уверены, что ваши собственные превосходные глаза уже никоим образом не вздумают сделать вам подобную каверзу.

И вдруг, совсем для себя незаметно, вы начинаете не то что хуже видеть, но как будто утомляться от печатного шрифта. Вы отдаляете книгу больше и больше, и все это считаете пустяками: «Захочу – и все разберу вблизи». Однако же от подобных усилий каждый раз утомляется голова… Наконец, выдаются такие вечера (должно быть, погода дурная или лампа плохо светит), что при чтении почти ничего не разбираешь. «Надо полечить глаза», – думаете вы. Доктор спрашивает: «А сколько вам лет? – и, узнав, что перевалило за сорок, говорит: Глаза у вас здоровы; нужно надеть очки».

Да, очки. И надеваешь их. И – ничего!

А молодые, встречая вас поседевшим и в очках, находят, что вы уже принадлежите к совершенно особому племени, которое устроено лишь для того, чтобы они, молодые, смотрели на него издали, но никогда сами в него не попадали.

XIII

Теперь умирает человек, для меня привычный, как пальцы моей руки: дядя моей жены, Чаплин. Он уже давно стар, но я его считал в кругу живых на бесконечное будущее вперед, настолько он был крепок, здоров и, казалось, необходимо близок к нашему дому. Лицо у него – круглое, бритое, с гладенько причесанными седыми волосами; выражение – приветливое. Говорит он успокоительным густым баском. Деликатен и услужлив до бесконечности. Живет в нежной покорности, уже в течение сорока лет, с женою, такою же здоровою, как и он сам.

Он где-то простудился, сильно лихорадил и кашлял несколько дней, а теперь уже прощался с близкими и приобщался. Я впервые видел это церковное погребение заживо и, как все присутствующие, держал зажженную восковую свечу, в то время как священник стоял у кровати и отправлял службу с молитвенником в руках. Кретоновая занавеска, за которою обыкновенно скрывалась супружеская спальня, была отдернута. Больной смотрел на священника с своей подушки. Он относился к этому последнему напутствию с невероятным добродушием и без всякой видимой тревоги. Легкий бред обратил для него потрясающий обряд в нечто простое. Жутко было слышать, как он по-ученически, как автомат, стеная и пропуская от слабости некоторые слова, повторял за священником причастную молитву и, полузакрыв глаза, кончил ее последние слова («и в жизнь вечную») чуть внятным шепотом: «вечн…» Священник что-то ему сказал о значении молитвы, и он, полусонный, отчетливо сумел произнесть:

«Да-да… Молитесь о нас, грешных, а мы… а мы… о вас молиться будем».

И сейчас после того, с чисто детским неведением о значении происшедшего, он спросил сына: «А когда же другие будут приобщаться?» (Его уверили, что все почему-то намерены приобщаться). Не выжидая ответа, больной окончательно забыл всю эту сцену.

Еще день. Бред его не покидает. Человек и в здравом состоянии мыслит отрывисто, перескакивает без видимой причины от одного впечатления к другому. Но как гадко видеть этот тайный процесс обнаженным для постороннего уха… Все мысли – вслух! Какая утомительная, жалкая работа! Больной усиливается запомнить какой-то адрес… Потом восхищается природой, чистым воздухом… Потом шутит насчет отсутствующего брата… И все подряд, без умолку… Нестерпимая

сумятица мыслей! Но иногда приходится подслушать нечто изумительное. Так, например, я был один в комнате, когда умирающий пробормотал:

«Ох, скверно! И *здесь* оставаться нельзя – и *туда* не хочется…»

Спрашивают доктора, скоро ли конец и как именно он должен случиться? Тот отвечает, что «пульс еще не зачастил»; что еще не наступила «так называемая агония», а какова она будет, длинная или короткая, ответить нельзя. Смотрят родные на этого живого человека в белой ночной рубашке, слышат его еще живой голос, отрывки его слов, и у всех щемит за него сердце, всем больно, что в этом ноющем теле готовится и произойдет «так называемая агония».

Сегодня он бредил до потери голоса, стал холодеть с утра, забываясь все более и более, и однажды, перед вечером, когда в незначительном приступе кашля, его хотели перевернуть, чтобы облегчить отделение мокроты, – он оказался уже задохшимся.

Я зашел навестить больного и оказалось, что он только что умер. В этот день (31 мая 1891 года) я утром защищал в суде Ольгу Афанасьеву, оттуда поехал на юбилейный обед Спасовича и сказал речь юбиляру, а с обеда попал в квартиру Чаплина на первые минуты после его кончины. Его лицо было закрыто. Вдова стояла возле его кровати, над безмолвным телом, с наклоненною головою, без слез, – словно окаменела в религиозном смирении перед этою непостижимою развязкою ее сорокалетней жизни с умершим.

В Петербурге в квартиру больного еще во время его болезни наведываются гробовщики. Это большею частью раздражающе здоровый и юркий народ. Они действуют быстро и бездушно. Положение во гроб совершается почти всегда на первой вечерней панихиде. Близких стараются удалить из комнаты, где лежит покойник, двери в нее затворяются, и там, внутри, слышится спорая, ловкая работа. Хор певчих причитает какой-то однообразный, поспешный и тихий речитатив, точно делается нечто воровское… Не пройдет и двух минут, как уже можно видеть мертвеца в гробу, на своем месте. Двери отворяются: все сделано удобно – не угодно ли полюбоваться?

Так было и здесь, на следующий день после кончины Чаплина, на вечерней панихиде. Со времени детства (а мне уже было за сорок) я еще никогда ранее так не вдумывался в каждое слово обрядных молитв над умершим.

«Прости ему, Господи, согрешения вольные и невольные… Яко несть человек, иже будет жив и не согрешит, Ты бо Един кроме греха, правда Твоя – правда во веки – и слово Твое – истина!»

Это заунывное указание на величие «правды вечной» перед суетой повседневной жизни смутило меня ужасно…

«Подаждь ему, Господи, вечный покой!..»

Мне это показалось лишним. Теперь уже нечего просить о покое. И без того покой слишком глубок. Скорее можно было бы просить у Бога как некоторого чуда, чтобы умерший хотя бы чуточку пошевельнулся или обнаружил хотя бы самые туманные признаки сознания…

«И сотвори ему, Господи, – вечную память!»

Среди присутствующих находился, между прочим, поэт Полонский (сослуживец Чаплина по Кавказу), вошедший на костылях и стоявший у дверей. И когда после службы все расходились, он мне сказал: «Я не понимаю, зачем это поют: „вечная память!“ Что это? Ирония?..»

Когда все мы вышли на воздух, то на улицах Петербурга, несмотря на позднее время, было светло как днем. Нет! милее, чем днем: это была теплая «белая ночь».

XIV

Если бы можно было умереть и затем откуда-нибудь издалека любоваться своим исчезновением… Если бы можно было не видеть ни своего трупа, ни ужаса перед ним людей, а только наслаждаться светлыми сторонами смерти, т. е. читать в живых сердцах запоздалую нежность к вам, умиление перед вашей памятью и глубокую тоску о вашей невозвратности… Если бы великий человек, незамеченный при жизни, мог знать о своем величии после смерти… Если бы бессмертному писателю дано было за гробом слышать на долгие века вперед каждое биение сердца его поклонников, – незримо присутствовать на собраниях, лекциях и празднествах, посвящаемых его гениальным творениям, – если бы тень поэта могла встать над его монументом в цветущем парке или на красивой городской площади… Шопенгауэр говорит, будто каждый великий человек «преднаслаждается» своею славою именно в те минуты, когда он создает нечто заведомо бессмертное. «Преднаслаждается!..» Так точно преднаслаждается самоубийца, надеющийся возбудить своею смертию раскаяние и жалость в том жестоком сердце, которое не сумело понять его при жизни.

XV

Наступает осень. Зачастили дожди, но по временам светит и задумчиво-яркое солнце. Воздух бодро свежеет. Осень сравнивают с первыми признаками старости. Что ж! Это верно и вовсе не оскорбительно для осени. Начало старости есть начало непередаваемо милой грусти. Все безвозвратно улетевшее облекается в прелестный призрак, и сердце щемит печальною радостью, издалека любуясь счастливыми минутами жизни. Возможно ли – следует ли – желать их возвращения? И еще неизвестно, что для сердца отраднее: самые ли эти минуты или их отдаленное изображение в безмолвном царстве памяти?

И пускай затем наступает зима, т. е. уже сама старость. Выпадет снег, спрячемся в шубы, съежимся и покоримся, да еще, пожалуй, повеселеем, уподобившись тем старичкам из «Фауста» Гуно, которые бесцветным голоском распевают трогательно-глупую и детски-веселую песенку. Этот хор старичков – самая гениальная и самая правдивая аллегория старости. И в самом деле! Посмотрите на вполне законченных стариков: какое непостижимо ясное настроение. Они себе и в ус не дуют! Смеются, гуляют, кушают, да еще и над молодыми подтрунивают… одна прелесть! Дети и старики – «тех бо есть царство небесное».

Но вот посредине жизни, – когда все силы налицо и все вопросы не разрешены, – да! жутко и больно приходится…

XVI

Я начал писать стихи в тридцать лет. Вот одно из моих первых стихотворений, нигде не напечатанное. Привожу его со всеми его недостатками и с его бедными, неловкими рифмами.

Когда пред пестрою столицей,
Где суетно кишит народ,
Процессия с печальной колесницей
Змеею черною ползет,
Тогда, смутясь о нашей доле,
На гроб косимся поневоле
И с горькой думаем тоской:
«Придет, придет и наше время!..»
А гроб качается немой;
Свое таинственное бремя
Угрюмо лошади везут.
Кругом шумят дела земные
И, молча, до поры живые,
За мертвым смертные идут.
Друзьям, оставшимся в неведении света,
Мертвец не выскажет, хотя он и узнал,
Ошибся ли великий ум поэта,
Который пламенно вещал:
«Со смертию для нас кончается не все,
Могила чудное есть жизни продолженье:
Живя, мы думаем, что *падаем* в нее, —
Умрем – *возносимся* на небо в изумленьи»[4].
Простятся навсегда родные с «отошедшим»,
Как каждый миг прощаются они
С своим исчезнувшим прошедшим…
Пройдут года, а для иного – дни,
Цветущею иль темной полосою —
И лягут все они
Под тою же холодною землею,
Куда, с растерзанной душою,
Напрасно истощив сердечные мольбы,
Они покойного, как жертву опустили…
И памяти людской не подарят могиле
Ни надписи, ни плиты, ни столбы…
Поэтому, когда пред пестрою столицей,
Где суетно кишит народ,
Процессия с печальной колесницей

Змеею черною ползет, —
Забудьте, знатные, свое великолепье,
Богатые – свой блеск и нищие – отрепье,
И ты, озлобленный, из сердца удали
Глухую ненависть и черные проклятья, —
И вспомните на миг, что все мы люди – братья,
Что всех равно примут широкие объятья,
Объятья матери-земли.

XVII

В двадцать семь лет я делал попытки описывать природу. В одной заброшенной, почти пустой, тетради я нашел следующие отрывочные наброски, записанные мною с натуры, пока еще длилось самое впечатление:

«Грозовая туча – бледно-зеленая, без теней, как бы насквозь пронизанная лунным светом. Наверху – черный бордюр, сердитый, как насупленная бровь…»

…«Перед дождем. Тишина. Равномерный шум листьев на неподвижных ветвях. Невольно прислушиваюсь: кажется, будто это уже дождь. Но дождя еще нет…»

…«После продолжительной грозы. Все небо светло-серое, ровное, как матовое стекло. Невидный, но слышный дождь, не умолкая, падает на измокшую землю…»

…«Прояснение летней погоды после дождей в деревне. Солнце. Воздух спокоен. Последние светлые тучи, совсем ослабевшие, скрываются за одной стороной горизонта. В другой стороне все чисто. Небо – ярко-синее, с неподвижными, тонкими слоями белых облаков, похожих на песчаные отмели. Из-за пруда, с поля, доносится нежно дрожащее блеяние стада. Слышен запах лип. Желтая пыль цветочков местами присыпала чуть влажную землю».

…«Корова, которую бил овод, нетерпеливо и резко заревела. Этот рев отдался в лесу коротким и резким звуком, как будто ударившись обо что-то далекое…»

…«Домашняя птица: вопросительное гоготание гусей, старушечьи жалобы индюшек, бдительные возгласы петуха, нежное живиканье утят…»

«Петербургское утро в июле. Набережная Летнего сада. Нева синяя и волнистая. По ней, в виде желтых пятен, выделяются обширные барки с березовыми дровами. От гранитного барьера идут ступени к пароходной конторке с вывеской: „На острова“. Молоденькая тоненькая дама в сером летнем платье, с серебристо-серою вуалью, спешит на пароход. На том берегу зеленеют деревья. Вхожу в Летний сад. Дорожки чистые и твердые, как асфальтовая мостовая. Дым пароходов, приносимый ветром, залетает в густые вершины старых лип и, цепляясь за ветки, медленно распускается в сводах аллей».

…«Осеннее утро в том же саду. Свежий воздух кладет на лицо синеватый румянец. При быстром движении чуется мерный ветерок, бьющий по ушам: остановишься – и он смолкает. По чистому небу разбросаны тревожные облака. Все ясно и

отчетливо, однако же все, в особенности вдали, будто подернуто прозрачным голубым туманом. Яркие солнечные пятна лежат пестрым ковром на траве под деревьями. Но вдруг трава бледнеет, и пасмурная тень налетает на все сразу: солнечного дня как не бывало, – все померкло, – день серый. И опять вдруг на траве обозначается одна темная полоса, как будто напоминающая ствол большой липы… но вскоре эта легкая тень снова тонет в более густом мраке. А потом, внезапно, когда ждешь и не думаешь, все сразу, весь рисунок света и теней, загорится солнечным блеском на тех же самых местах, как по готовому узору. И опять все ярко и весело…»

…«На Стрелке, в августе. Ни одной души. Над закатом лежит длинная и узкая фиолетовая туча с раздвоенным концом, напоминающим голову крокодила. Солнце еще не начинало золотить небо. Только надо мною в самом верху раскинулось неподвижное облако, легкое и дымчатое, подернутое мутно-красными, как ржавчина, штрихами. Взморье чуть-чуть рябит…»

…«Конец осени. Тонкий лед, сморщенный, как пенка на молочном супе, подернул желто-бурую воду в каналах. Первый мороз, подобный снегу, покрыл короткую покрасневшую траву. В воздухе слышен запах зимы, смешанный с запахом приморожденных листьев. Окна сильно вспотели и, пригретые солнцем, покрылись полосками скользящих капель. Сквозь эти полоски яркий, но холодный день глядит в комнаты…»

* * *

На этом заметки обрываются. Я их делал без всяких планов, просто вследствие неудержимой потребности. Но, встретив их теперь, я как бы снова пережил то, что их вызвало. И я вспомнил, насколько природа еще в те годы показалась мне выше всяких описаний. Впоследствии я всегда мучительно молчал, когда слушал разговоры о красотах природы.

XVIII

Природу называют «вечною» (в том числе – и Пушкин). Действительно, она как бы подавляет нас своим припевом: «ты уйдешь, а я останусь». Но это ощущение – обманчиво. Видимая природа настолько же вечна, как и видимые люди. После нас будут новые люди и – новая природа. Сегодняшнее небо никогда не повторится. Деревья – в тех местах, где они растут, – все будут срублены или погибнут. Башни разрушатся, и города исчезнут. И ни единый из толпы, которая течет обильной рекой по тротуарам, не возродится в будущем со всею своею оболочкою: ни одного теперешнего носа, ни одной пары глаз, ни одного платья не останется. Будет вечною только жизнь *вообще,* но не *наша,* не современная нам жизнь.

XIX

Когда вы читаете историю, то, не правда ли, какою величественною картиною развертывается перед вами прошлое человечества? Перед вами чередуются великие исторические имена, и, согласитесь, что самые образы этих исчезнувших людей рисуются вам не в обыденной обстановке, а в какой-то фантастической глубине, в особенной воздушной перспективе, как будто вне земли, точно в области сновидения, в невообразимом пространстве без почвы и границ… А между тем все эти люди никуда не возносились. Они топтали нашу землю, и все их подвиги, все создания их гения – с точки зрения физической – совершились в низеньком пространстве над земною поверхностью, не превышающем воробьиного полета. Крыши домов – вот та крайняя черта, за которую никогда не переступала мелкая сутолока нашей истории от ее незапамятных времен.

XX

Пройдет несколько столетий, и смерть Александра II будет изукрашена фантазией…

А вот как она произошла в действительности.

В последние годы царствования Александр II не выезжал и не выходил иначе, как под угрозою смерти. Если он гулял – вся площадь его прогулки охранялась издали, по всем пунктам, невидимыми сыщиками. Выезжал он в карете на лежачих рессорах с пикетом конного конвоя вокруг и с кавказцем на козлах, возле кучера. Процессы о покушениях на его жизнь то и дело разбирались и печатались в газетах. Взрывание поездов, в которых он следовал, стреляние в него на улице, во время его прогулки, и подкопы с динамитом под Зимний дворец и под целую улицу, ведущую к Манежу, – все это уже приучило публику быть наготове, что такие покушения и впредь будут продолжаться. Но случай постоянно выручал государя. Поневоле как-то верилось, что, несмотря на вечное преследование, он каким-то чудом превратился в неуязвимого. Но смерть в том или другом виде, конечно, должна была его со временем постигнуть. А он смотрел еще молодцом, рослый и величественный, мягкодушный и популярный, благодаря прежним заслугам, с поседевшими баками, побледневшим лицом, с выпуклыми голубыми глазами, глядевшими гордо и мечтательно из лучистых морщин. Воспитанный льстивым и сентиментальным поэтом, ставший на ноги под обаянием всемогущего монархического режима своего отца, Александр II любил романическую помпу монархии. Он жил в громадном Зимнем дворце, размножал свою свиту, издавал подробные церемониалы своих дворцовых выходов, бальных шествий, церковных процессий, всяких торжеств среди царской фамилии и, постоянно посещая институты, любил немое обожание девственниц к недостижимой и вечно привлекательной особе царя. Его роман с Долгорукою (также примеченною им в институте) придавал ему значение неувядаемого jeune premier[5]. И часто, когда Зимний дворец горел бесчисленными огнями своих окон, где, в разных концах, помещались и покинутая больная государыня, и пышная свита, и собственные апартаменты запуганного и нервного правителя, – прохожий задумывался над будущими судьбами этого еще величественного в данную минуту, но крайне тревожного царствования…

1 марта 1881 года был довольно ясный холодноватый день. Солнце светило сквозь ровные облака, похожие на легкий туман;

земля была сухая и мерзлая. В это число приходились именины гостившей у меня сестры. Я жил тогда в доме Палкина, на углу Владимирского и Невского. С полудня начались визиты. В первом часу один из приехавших сообщил, что был новый взрыв и что государь в опасности. Все как-то печально подумали: «наконец, видно, удалось покушение…» Но все еще не верилось, чтобы царствование было прекращено. Однако, спустившись на Невский, я увидел усиленное движение публики на тротуарах. Говорили, что покушение произошло на Екатерининском канале, по которому государь проезжал после смотра в Манеже и завтрака в Михайловском дворце. Толпа двигалась по направлению к месту преступления. Слышно было, что взорвавшаяся бомба расщепила карету, что государь вышел и что вторичный взрыв поверг его на панель; что его, изувеченного, пришлось отвезти на извозчике в Зимний дворец; что ему оторвало ноги; что по дороге он только успел сказать: «Холодно!»

Я шел за толпою по Невскому. Все сворачивали на Екатерининский канал. Толпа на канале делалась почти сплошною. Пробираясь по узкому тротуару, по линии домов с правой стороны канала, я увидел на месте катастрофы квадратный пикет из Павловских солдат с их высокими колпаками, охранявших один кусочек панели возле чугунной решетки канала. За этой стеною солдат ничего нельзя было видеть. Возбужденно и в то же время безучастно толковал весь этот столпившийся народ. Чувствовалось, что совершилось дело кровавое и непоправимое. Раздавались вести, что государь уже скончался. Услышавшие передавали своим близким и знакомым: «Скончался». Неужели окончилось это царствование? Неужели эта громадная сила, с которою никто из нас не приходил в непосредственное сношение, беспомощно отступила и исчезла?

Мы (я был с родными) повернули назад. На обратном пути к Невскому встречная публика принесла известие, что «Суворов объявил народу на Дворцовой площади о кончине государя». И как бы в подтверждение этого известия, дойдя до Невского, мы увидели карету наследника, окруженную многочисленным конвоем конных казаков в серых шинелях, с пиками, направляющуюся быстро от Зимнего дворца к Аничкову дворцу. Четко стучали копыта лошадей. Парадный выездной казак наследника, в голубом костюме, стоял на запятках. Новый царь с своей женой проносился в этой карете по Невскому, потеряв своего отца, убитого всею этою публикою, которая со сдержанным говором двигалась по улицам. Помнится мне, что в эту самую минуту тонкий дребезжащий колокол учащенными ударами звонил к вечерне в католической церкви на Невском. Я сознавал,

что в эти самые секунды, под звуки этих колокольных ударов, при топоте этих казацких лошадей по торцовой мостовой, совершается исторический переворот.

Мы не пошли на Дворцовую площадь. Нам передавали, что желтый флаг Зимнего дворца был спущен в минуту кончины и что народ заполняет площадь перед дворцом сплошною стеною.

К ночи толпа на улицах увеличилась. Население столицы поняло, что свершилось дело нешуточное: свергнуто царствование. Но вся эта масса людей бродила по улицам с праздными разговорами; она сознавала себя только свидетельницею чужой борьбы, она только любопытствовала узнать, что будет дальше. Подпольная сила, сделавшая этот переворот, представлялась всем и каждому более могущественною, чем она была в действительности. Казалось, целый легион тайных борцов где-то невидимо присутствовал, и правительству необходимо было с ним считаться – трусить его, принимать меры… Войска были наготове. Монархия сделалась тем поколебленным знаменем, из-за которого теперь происходила очевидная междоусобная война.

А между тем воображение невольно и постоянно возвращалось к величественному покойнику. Публика знала, что Александр II был мнителен, суеверен и мечтателен; что он привязался старческою любовью к Юрьевской; дорожил своею новою семьею, перевезенною в Зимний дворец; пугался зловещей революционной атмосферы, охватившей его со всех сторон, – и публика следила за его интимной и политической драмой с тем злорадным, до поры до времени, любопытством, которое всегда свойственно постороннему зрителю.

Но вот – царя затравили и сделали наконец безмолвным и бездыханным. И тогда всем стало жалко его. Кроме того, с ним, с этим мертвецом, для каждого опускалась завеса над длинным рядом годов его собственной жизни. Рослый, молодцеватый глава государства, слабодушный и симпатичный преобразователь, всемогущий «помазанник Божий» и т. д., лежал теперь, изуродованный и уничтоженный, в громадном Зимнем дворце. И воображение толпы начинало склоняться на его сторону. Газеты заговорили слезливым поэтическим языком. Передавались легенды, возникшие уже в эти первые дни, – будто ночью, над Зимним дворцом, появился в небе какой-то светлый метеор, в котором народ признал возносившуюся к небу душу государя. Писали, что за несколько дней до кончины Александр II был огорчен смертью одного голубя, заклеванного коршуном на карнизе одного из окон его кабинета. Появились фотографические снимки с умершего: красивая, гладко

причесанная голова с завитыми бакенбардами и спокойным, породистым профилем лежала на подушке. Гренадерский мундир обтягивал стройный корпус; маленький образок лежал на груди. Был выставлен и портрет, написанный К. Маковским в первые минуты после смерти: бледное лицо, пышные баки и военная шинель, перекинутая через тело.

Чисто театральное любопытство столичных жителей продолжало поддерживаться тревожным уличным движением, загадками насчет будущего, красивым церемониалом предстоящего погребения, возвещаемого герольдами в оперных костюмах, мелодраматической судьбой княгини Юрьевской, неожиданно потерявшей горячо любящего мужа и улыбающуюся ей корону, – и все инстинктивно направлялись глазеть на громадный Зимний дворец со спущенным флагом, или на место катастрофы. Каждый на углу Невского и Екатерининского канала невольно оборачивался вправо, в уходящую перспективу речонки, где на злосчастном месте уже поднялась маленькая деревянная часовня с луковичкой и крестом. Стены этой часовенки были обвешаны венками, внутри виднелись образа и лампады, но эта церковная будка как будто уже сделала безвкусную и глупую заплату на живом месте, которое – если бы его сохранили в его естественном виде – могло в будущем ясно восстановлять это историческое убийство для отдаленных потомков. Зачем, думалось мне, не оберегали небольшого куска чугунной решетки канала и возле нее тех двух-трех плит, обрызганных кровью, на которых пал Александр II? А теперь канава будет засыпана, церковь задавит своим корпусом это место; ни одного клочка живой обстановки не сохранится, и посетитель храма, блуждая в обыкновенной русской церкви, никогда не найдет в ней того главного, чего бы он искал, – не найдет точно обозначенного и неприкосновенно сохраненного места самого несчастия…

Герольды в черных бархатных пелеринах и шляпах с белыми перьями, на вороных конях, с эскортой жандармов, должны были в разных концах города, с отжившим величием средневековых обычаев, возвестить населению давно известное ему событие предстоящих похорон государя. Мне как-то попался на глаза один из таких герольдов (бритый и стриженый помощник секретаря сената в несоразмерно широкой бархатной шляпе, сползавшей ему на затылок) во время его переезда с одного пункта «возвещения» на другой. Напечатаны были церемониалы фантастически великолепного погребения. В программе значились и «печальный рыцарь», весь в черном, с опущенным забралом, и бриллиантовая корона, и держава, и скипетр, предносимые перед погребальной колесницей первыми,

почетнейшими сановниками империи. «Скороходы» и другие, уже непонятные для современного читателя, фигуранты шествия назывались в церемониале. Все это как бы хотело сказать обыденным уличным убийцам: «Вы убили бога». Любопытство к похоронам возрастало, но оно не переставало быть прозаическим. Оно походило на любопытство к первому представлению заманчивой феерии в цирке. Каждый хотел только поудобнее выбрать место на зрелище. Даже извозчики, люди из народа, почти не умилялись. Помню одного из них, который не утерпел высказать мне свои мысли вслух: «Должно быть, и им (убийцам) пришлось плохо, коли на такое дело пошли»… Словом, атмосфера оставалась практическою и трезво равнодушною.

Наступило наконец весеннее, холодное и пасмурное утро «перенесения в Бозе почившего». Я устроился в помещении нижнего этажа Международного банка на Английской набережной, по которой процессия направилась от Зимнего дворца, через Николаевский мост, в Петропавловскую крепость. Процессия двигалась почти в уровень с моими глазами, по кусочкам, стесненная узкой Английской набережной. Из наших окон не открывалось никакого кругозора: видно было поочередно все то, что двигалось между нашими окнами и противоположным тротуаром, упиравшимся в гранитную ограду замерзшей Невы. На этом промежутке шествия уличной публики вовсе не было (она сюда не допускалась), и нам были видны все фигуранты церемонии на чистой приморoженной мостовой, как на полу комнаты. Правда, нам не была видна вся лента процессии, но зато все участники ее мелькали перед нами друг за другом, как китайские тени на экране. Всё мундиры, мундиры… цехи, почетные лица, церемониймейстеры на лошадях, знамена, гербы, камер-лакеи, певчие, генералы, иногда – какая-то отдельная маскарадная фигура, которую мы едва могли объяснить себе, теряясь в длинном печатном церемониале, – потом опять мундиры, звезды, ленты, – бесчисленное множество золотых подушек с орденами, – вот бриллиантовая корона, – кажется, скипетр и держава, – толпа архиереев – и вот вся золотая, громадная колесница с балдахином, почти сплошь наполненная генералами, которые заняли все ступени катафалка… Из-за них чуть видны цветы венков и золото гроба, покрытого порфирой. Толпа отборной Романовской фамилии – все рослые, – военные, всем знакомые по портретам, – в мундирах с иголочки, – густо идут, как солдаты вокруг колесницы, за которою шагает крупный и грустный новый государь. Затем цепь траурных карет с царственными дамами… какое-то пение… какая-то музыка. Уже и смотреть не на что, а все еще процессия тянется – и долго

тянется.

Между тем, спустя некоторое время, золотая колесница показалась уже почти в конце Николаевского моста, почти на противоположном берегу. Она покачивалась и уплывала – мимо Академии – туда, к шпилю Петропавловской крепости… Прощай, целая эпоха!

XXI

Это было летом 1885 года. Мы жили, не доезжая полторы версты до Луги, почти у полотна железной дороги, вправо (если ехать из Петербурга), на даче маркизы Траверсе. Широкий дом с мезонином, под красной крышей, с паркетными полами и мебелью из красного дерева, построен еще при Павле, когда предок маркиза был морским министром. Во все концы от дачи тянется сосновая роща. Усадьба обнесена частоколом в виде широкого правильного четырехугольника. Вокруг дома сосны, мелкая травка, мох и песок.

Дача разделена надвое. В более просторной половине живем мы: я, жена, две наших маленьких дочери, мать жены с незамужнею дочерью и гувернантка моих девочек, француженка Габриель.

Габриель – хорошенькая двадцатидвухлетняя вдова русского гвардейского доктора. Она родилась в Пиренеях, и в ее больших глазах, похожих на звезды, есть что-то «испанское». Но в ней есть и французская веселость. Она худенькая и стройная, носик у нее очень милый – вздернутый, с трепетными ноздрями; на щеках ямки. Одевается она молодо, просто и со вкусом; сама себе кроит и выдумывает платья. Ее смех и напевы оживляют пустыню. Она привезла с собою из города белого пуделя Капи, которого она по три раза в день моет с мылом в небольшой речке за усадьбой, красиво стрижет его и любуется его просохшею кудрявою шерстью. Она отзывчива на каждую шутку; совсем не знает скуки; учит девочек, шьет какие-нибудь тряпки, – и смотрит ребенком, с своей миниатюрной головкой в японской прическе (узел с двумя петлями на макушке), с торчащими ушками и узенькой талией, перетянутой поясом. Ее большие глаза и оживленное тонкое личико всегда нравились мужчинам. Но я смотрел на нее, как на дочь. Мне в то время было тридцать семь лет; я считал себя стариком. Притом у Габриель были довольно жесткие некрасивые руки, и вообще почему-то, как женщина, она была для меня совершенно безопасна. Но я любил ее бодрость, молодость, вкус, понятливость, простоту и беспечность. Мы были с ней настоящие друзья. Она выдумала себе пунцовую шляпку из кумача, в виде детского чепчика с рюшами, и эта шляпка действительно очень шла к зеленому летнему ландшафту, как она и предвидела: «Le ponceau est toujours très joli dans la verdure»[6]. Но, большею частью, во дворе и на балконе она ходила в белом суконном берете, привезенном из Биаррица.

Рядом с нами, вскоре после нашего приезда, в меньшей

половине дачи, поселилось семейство генерала Дохтурова. Оно состояло из генерала-вдовца, паралитика, возимого в колясочке, и его трех дочерей: одной замужней и двух барышень. Младшая из барышень, Катя, оказалась прехорошенькою. У нее был чистый мягкий профиль, нежное матовое лицо и славные темно-серые глазки – не то застенчивые, не то насмешливые. Ее темно-каштановые волосы были подобраны от затылка вверх, как у греческих статуй. Модная холка тонких кудрей ниспадала на белый лобик. Она, как и сестра, носила белую матросскую рубашку с отложным воротничком. Юный прекрасный бюст обрисовывался под этим летним костюмом; загорелые ручки с ногтями изящной формы выходили, полуобнаженные, из ее просторных рукавов и белели, как молоко, по направлению к локтям. Она была хозяйкой в доме, на ней лежали заботы по приготовлению и уборке чайного стола; она вела счеты.

В семью генерала каждую неделю приезжали из Петербурга, под воскресенье, два офицера: его сын и муж одной из дочерей. У молодых супругов была трехлетняя дочка – пухлый, черноглазый и курносый ребенок. Барышни возились с этой маленькой племянницей. По утрам на дешевеньком дачном пианино они бренчали песенки, польки и вальсы для увеселения малютки.

Мы встречались с нашими соседями на общей прямой дорожке, которая вела из дома к забору с калиткой. За калиткой, по песчаным буграм, был спуск к полотну железной дороги. С каждым свистком три сеттера наших соседей – Снежок, Дружок и Каро – бежали через сад к рельсам и лаяли. Иногда и мы выходили смотреть на поезд. Так завязалось между нами невольное и сдержанное знакомство.

Долгие дни проходили в летнем уединении. К нам долетали разговоры со смежной террасы, отделенной от нас деревянной перегородкой; барышни показывались в саду; они выходили погулять с ребенком или направлялись к гамаку, протянутому между двумя высокими соснами; одна из сестер ложилась в гамак, а другая читала. По вечерам лакей сажал генерала в колясочку, и все семейство, с тремя собаками, уходило в окрестный лес сопровождать больного во время прогулки.

Всходило и заходило солнце. Набегали тучки и перепадал дождик. Часто я усаживался на балконе пустого мезонина, принадлежавшего к нашей половине, и в молчаливом мечтании смотрел сверху на одинокую дорожку нашего сада. Кто-нибудь показывался и ходил между деревьями. Заглохшая клумба лежала неизменным кружком под балконом, у самого крыльца. В середине ее торчала палка для поддержки несуществующих уже георгин. И вот, бывало, заглядываешься на все эти мелочи,

дышишь, любуешься на небо и землю, и какая-то лень и раздумье, и сожаление, и предчувствия наполняли это праздное времяпрепровождение. Все казалось однообразным по внешности и в то же время великим по своему неисчерпаемому содержанию. Каждая сосна и былинка, каждый приток воздуха и перемена света были, в сущности, чудесами. Биение моего живого сердца, присутствие моей живой мысли готовы были во всякую минуту откликнуться и на красоту, и на заботу жизни, и на всякий новый вопрос, и на всякое новое впечатление. И однако чувствовалось, что все это дано на время; что во всем этом видимом и чувствуемом мире я – гость, но что есть хозяин. И Он меня удалит отсюда и у Него есть власть… Кто Он?..

Между тем внизу шумели дети; с крыльца выбегала в сад Габриель; семья наша жила дружно; соседи наши были милые люди; дни проходили спокойно и беспечно. За семейным обедом или где-нибудь в лесу, на общей прогулке, – оставалось только воспринимать «впечатленья бытия» или глазеть по сторонам, с выжидательною грезою, и, в глубине недоумевающей души благословлять проходящее мгновенье… Есть, правда, много сожалений в сердце, есть какой-то вечный осадок непередаваемо сложных чувств, – но тишина и солнце, и простая жизнь куда-то насильно отвлекают все эти недоумения и остается только одно: жить и ждать… Лежишь, бывало, где-нибудь в лесу, на песке под сосною; Габриель где-то за деревьями напевает песенку; дети с женою бродят тоже поблизости; вскинешь глаза вверх на синее небо, потом опустишь их на ближайшие стволы берез и елей, потянешь на себя воздух, услышишь пролетающую пчелку, взглянешь на бегущего вниз муравья, возьмешь с земли тонкую сухую веточку, поставишь ее поперек дороги, чтобы затруднить муравья, а он быстро и равнодушно перебежит через нее – и так лежишь еще и не знаешь, что делать… Но вокруг тебя твои близкие и тебе хорошо, – хорошо относительно, потому что в сердце давно уже подавлены все несбыточные мечты, и самое бессилие твое оживить эти мечты, уверовать в них снова – самое это бессилие порождает жуткое и приятное чувство жалости к самому себе, и, как это ни странно, – даже в этой покорности есть какое-то удовлетворение…

Иногда к нам приезжал из города Кони. Он был принят у нас как родной, вследствие нашей близости от юных лет. Всегда страдающий, благодаря щепетильной нежности своей одинокой пуританской души, – благодаря своему поэтическому честолюбию, искавшему общей любви на узкой дороге государственной службы, – Кони приносил с собою атмосферу талантливости, привлекательной шутливости и даже детской

веселости, когда он поневоле, «на лоне природы», забывал свои меланхолические терзания.

Присядет он, бывало, на скамейку под сосною в саду нашей дачи, возле меня и жены; мы с ним болтаем; солнце греет; под нашими ногами стелется сухой и бледный мох. И пока мы разговариваем, – брошенная одним из нас папироска выжигает во мху большое черное пятно. Это всех нас развлекает; мы следим за этим безвредным пожаром, который прекращается или сам собою или от вскинутой на него горсти песку одним ударом палки…

Кони любил присоединяться к играм детей. Он был на этот счет очень изобретателен. Он научил Габриель и моих девочек выкопать в овраге, на песчаном откосе, глубокое отверстие. К этой пещерке мы притаскивали из лесу опавшие ветви, засовывали их в нее, прибавляли сухого можжевельника, еловых шишек, а затем все это поджигали – и наша ямка превращалась в настоящую печку. Эта «печурка» (как мы ее называли) трещала, весело горела в вечернем сумраке, дымилась и покрывала копотью белую песчаную стенку, в которой она была вырыта.

Мы обыкновенно делали это в овражке, видном влево от дачи с полотна железной дороги. И года три-четыре спустя, подъезжая к Луге, я каждый раз из окна вагона различал еще темную дырочку на том белом откосе, где дымилась наша «печурка». Потом это пятнышко исчезло.

Однообразие пейзажа заставляло нас в особенно хорошие летние вечера пускаться на открытие новых прогулок. И вот однажды я с Габриель, в ее белом берете, с пуделем Капи и с детьми отправился тотчас после обеда в большой лес позади нашей дачи, за водяною мельницею. Войдя в лес, мы одно время следовали по ухабистой песчаной дорожке, которая, видимо, приводила к какому-то пристанищу. Солнце еще стояло высоко, и мы рассчитывали проделать всю дорогу и возвратиться домой к обычному времени сна. Было тепло и тихо. Путь наш довольно долго не представлял ничего нового. Но вдруг в одном месте мы напали на целую плантацию мелких розовых цветов в лесной чаще: здесь почему-то уродилась в изобилии одна травка, имеющая розовые цветочки (ее называют Иван-чаем). Габриель обрадовалась и весело воскликнула: «Voici le pays rosé!»[7]

Это была действительно «розовая страна» в лесной зелени. Впоследствии оказалось, что этот оазис находился как раз на половине дороги, пересекающей лес из конца в конец. Далее мы увидели в сосновом бору несколько правильных кучек дров, сложенных в кубические сажени, и наконец сквозь редеющие стволы сосен нам показалась вдали деревушка. Открылось поле, засеянное высоким зреющим хлебом, и, поднимаясь по отлогому

холму, мы вступили в улицу, состоящую из нескольких избушек. По случаю прекрасного праздничного вечера жители деревни прогуливались или сидели под деревьями у своих ворот. В одной избе мы, за ничтожную плату, напились молока и поболтали с хозяйкой. Взрослые и дети рассматривали нас с любопытством. Утомленные ходьбою, мы решили нанять телегу для обратного путешествия. Вместо кучера нам дали девочку лет шестнадцати, худенькую блондинку в холщовой рубахе. Мы с хохотом уселись в телегу; девочка прекрасно управляла лошадью. На обратном пути «розовая страна» совсем потемнела, и мы едва ее узнали. Перед нами все время выделялась молоденькая загорелая шейка нашего кучера со спутанною косою и ее худенькая спинка с выдающимися лопатками под холщовой рубахой. Мы возвратились вовремя. Ночь была так же тиха и тепла, как весь прекрасный день.

И вот, таким образом, мы безмятежно проживали на даче.

Генеральская семья бок о бок с нами жила своею особою жизнью. Катя мне положительно нравилась: я, каждый раз как ее увижу, испытываю особенную тревогу. Она необыкновенно мила и чрезвычайно необщительна: мало и неохотно говорит; ходит, изящная и гармоническая, всегда немного потупив свою аккуратно причесанную головку. И мне почему-то думается, что муж ее сестры, статный и ловкий офицер, непременно должен быть в нее влюблен. И когда, в праздничные дни, приезжают брат Кати и муж ее сестры – оба военные – я всегда немножко завидую этим кавалерам. Тогда барышни чаще выходят с своими гостями на прогулку, обе они надевают лучшие платья – и я, конечно, ревную Катю. Часто, шутя, я говорю своим, насколько мне нравится Катя. Живая и подвижная Габриель трунит над моим увлечением этою безответною и холодною девицей (muette et froide).

Наши отношения к соседям оставались, однако, очень сдержанными.

Но как раз в эту летнюю пору случились именины и у нас, и у них. Прежде праздновались мои именины, 5 июля, а потом именины Катиного брата Владимира – 15 июля. На мои именины мы послали предложить соседям вина и пирожного; а в день Владимира Катин брат устроил на поляне фейерверк. Мы стали ближе друг к другу.

Помню, в начале августа, в свежее солнечное утро, я прохаживался с Катей по дорожке перед нашей дачей и с невольной робостью старался поддержать наш короткий и неклеившийся разговор. И я чувствовал, как я стар, как я не подхожу к ней!

Затем однажды вечером обе барышни зашли в нашу половину с своими кавалерами; затеялись танцы; всем было весело. И когда наши гости уходили, я поцеловал барышням руки – поцеловал и Катину хорошенькую ручку, и от одного прикосновения моих губ к ее коже на меня вдруг пахнуло какою-то заразительною молодостью.

Но уже становилось холодно по вечерам. Начались очень темные, совсем черные осенние ночи. В одну из таких ночей, помнится, я вышел в сад и стал смотреть на яркие огни нашей дачи. Стекла уже потели от холода. В небе горели бесчисленные звезды. Балкон на половине Дохтуровых был открыт: внутри – Катя, под лампою, перемывала чашки после вечернего чая. Морозом пахло в воздухе. Тишина стояла вокруг невообразимая. И вдруг над черными деревьями пронесся плач филина. Этот звук был так жалобен и так красив! От резкого ночного холода слезились мои глаза. Я думал о всем близком и милом, что заключал в себе этот уютный домик, с своими огнями среди этой леденящей и непроницаемой тьмы, в той дикой лесной пустыне, которая нас окружала…

И все это я описываю только для того, чтобы сказать, что, вот, с тех пор прошло с немногим пять лет – и что же? Из нашего крохотного кружка уже умерли: мать моей жены, больной генерал, молодой брат Кати и цветущая Габриель… Всего пять лет – и уже четыре смерти в самой непосредственной близости от нас! Как она зорко ведет свои счеты – эта Смерть! Насколько неохотно дозволяет она кому бы то ни было заживаться на свете! Как неотразимо она доказывает, что она не зевает, что она всех нас наметила, что в ее отчетах не допускается неисправностей, что все мы необходимы для нее и что она всех нас всенепременно возьмет.

XXII

На башне Новодевичьего монастыря в Москве есть часы, отбивающие коротким ударом колокола каждую минуту. Нигде прежде, на башенных и комнатных часах, я не встречал этого приспособления. Звук этого удара настолько незначителен, что вам, быть может, доведется несколько раз посетить кладбище монастыря и не обратить внимания на эту особенность соборной колокольни. Однако мне случилось побывать там в ясный и тихий весенний вечер, с любимой женщиной, в самом чутком настроении души и при полном безлюдстве опрятного, богатого и нарядного кладбища, за несколько минут до его закрытия для публики. Мы проходили рука об руку по дорожкам, посреди всевозможных чистеньких памятников, с их статуями, плитами, решетками, венками, фотографиями и восковыми букетами под выпуклыми стеклами, – читали надписи, всматривались в свежий дерн, чувствовали где-то внутри себя преходимость и незаслуженность нашего большого счастья – и, несмотря на это, детски весело улыбались друг другу и тревожились разве только о том, что с минуты на минуту церковный сторож может потребовать прекращения нашей прогулки для закрытия наружных ворот монастыря. А колокольня то и дело звонила все тем же ясным и тихим звуком… Здесь-то именно мы поняли со всею очевидностью, до какой степени быстро летит время в минуты счастья. Нам показалось, что часы звонят, не переставая… Мы прислушались к этим быстро сменяющимся звукам – и тогда только оказалось, что между двумя ударами протекает ровно одна минута.

Мы вышли из монастырских стен, преследуемые тою же неумолкаемою речью высокой и красивой колокольни, освещенной ясным закатом весеннего вечера. Нам понравилась грустная красота этого безлюдного места. Мы захотели пройтись по сухим и зеленеющим дорожкам вокруг обители и, на одном из мостиков, обменялись доверчивым и радостным поцелуем, как бы выставляя свое счастье напоказ, потому что в это самое время какая-то группа дачников направлялась через поле к той самой дорожке, по которой мы шли… И звуки башенных часов уже не долетали к нам.

XXIII

Вспоминаю погребальные процессии, особенно резко бросавшиеся мне в глаза в зрелые годы моей жизни.

Весною, в Твери, я был по делу и стоял у открытого окна в номере гостиницы. Похороны пересекали площадь и двигались за город. Небольшая кучка людей несла розовый гробик, по-видимому отроческий. Солнце стояло в той стороне, куда направлялись эти люди. Ко мне едва доносилось пение. Что-то сладостное и чистое примешивалось у меня к чувству жалости и грусти…

В снежный петербургский день, в начале февраля, я встретил на Лиговке бедные черные дроги с белым гробом. Пять человек медленно шли позади по мокрому снегу; из их разговоров я понял, что везут девушку. Сквозь желтоватые тучи прорывался странный солнечный свет. Провожавшие были очень задумчивы. И я запомнил их бледные убитые лица.

Наискосок от моих окон, когда я жил в доме Палкина, как-то утром у подъезда собралась небольшая толпа на Владимирской улице. Подъехали дроги. Ожидали выноса. Я вздумал посмотреть на похороны и застоялся у окна. Из-под навеса над подъездом, сквозь открытые двери, стали выходить на улицу разные фигуры; наконец высунулся гроб. И вслед за гробом, сдавленная народом, вышла дама в трауре, с измученными, ничего не понимающими глазами. Как сейчас вижу это удивленное, испуганное, совершенно беспомощное лицо. Ее вели под руки; она озиралась и двигалась вместе с другими. Процессия свернула на перекресток, где на минуту было задержано движение громыхающих конок с их тревожными звонками. И казалось, что весь этот траурный обряд с обезумевшей дамой только нарушает уличный порядок и решительно никому не нужен.

В начале апреля, в Ковно, я был также по делу. Самая нежная весна сияла над городом. Солнце впервые грело по-летнему: земля просохла очень быстро; хотелось выйти на улицу без всяких предосторожностей в одежде; окрестные легкие горы зеленели дружною внезапною зеленью; на фруктовых деревьях белели цветы. Я пошел прогуляться по главной улице перед утренним заседанием. Стены домиков радостно белели при необыкновенно юном утреннем свете. Чудесная теплота лилась с синего неба; тени были голубые. Голова и сердце были у меня поглощены и громким процессом, который в ту минуту разбирался в незнакомом мне городе, и жгучими событиями, происходившими тогда в моей встревоженной и очарованной душе… Все мне

казалось и волшебным и уместным в этой светлой и ласкающей декорации жизни. И вдруг, когда я поравнялся с лавочкой какого-то парикмахера, где мне нужно было побриться, мне попались похороны. В яркой толпе я увидел, низко над землею, огромный длинный гроб, покрытый парчою… На нем стояла камилавка. Несли какого-то умершего священника. Пение, грустное по мотиву, раздавалось как-то безобидно и жизнерадостно среди этой быстро проходившей толпы. Легкая пыль от впервые просохшей земли поднималась вокруг шествия. Птицы прелестно чирикали. Мне бросились в глаза блестящий парчовый покров и грузный ящик в середине толпы, но я их проводил очень бодрыми взорами. И только, не знаю почему, – навсегда их запомнил…

XXIV

Однажды в Петербурге, в сентябрьские дни, мне понадобилась «меблированная комната в семействе». Обстоятельства так сложились, что я должен был взять первую попавшуюся. Я очутился в очень скромной семье. Мужа я никогда не видал и вел переговоры с женою, худощавою брюнеткою, имевшею уже взрослую дочь (работавшую в шляпном магазине) и маленького сына-гимназиста. В мою комнатку отдали все, что было лучшего в квартире: письменный стол хозяина, его лампу, гарусный коврик и т. д. В этой семье была всего одна прислуга. Ее звали Сашей и очень любили. У Саши, женщины за тридцать лет, – тощей, бледной, с тихим голосом и постоянною мягкою улыбкою, – было совершенно монашеское лицо: впалые щеки, бескровная кожа, необыкновенно добрые черные глаза под ровными тонкими бровями и удивительная тихость в обращении. Ее участливость ко мне выразилась тотчас же; она предупреждала все мои желания, очень скоро ко мне привыкла и всегда пеняла на себя, с каким-то улыбающимся шепотом, если в чем-нибудь на меня не потрафляла. Работы у нее было пропасть. Не знаю, сколько часов она спала в сутки. Дверь в кухню была всегда открыта прямо из передней, и в этой кухне происходила вечная возня. До обеда там раздавалось шипение и стоял чад, а после слышался стук посуды, сопровождаемый Сашиной беготней на призыв всех обитателей квартиры. К вечеру сдержанные звуки показывали, что кухня и посуда приводятся в порядок. Зато каждый проходивший через кухню всегда видел на чистеньких полках с бумажными бахромками целый ряд кастрюль, блестевших, как старинное золото. При всем этом Саша ходила с огромным животом; она была в последнем периоде беременности. Сколько было самоотречения, услужливости и заботливости о других в этой болезненной, бессильной, измученной женщине!

Я прожил в этой семье всего два месяца и должен был ее покинуть. Бледная и смиренная Саша грустила, что я уезжаю, и с своей тихой улыбкой как бы про себя говорила: «Как это я буду без барина?.. Право, я привыкла…»

Месяц спустя я зашел к хозяйке справиться об одной забытой мною вещи. Я зашел потому, что не получил ответа на мое городское письмо и думал, что оно не дошло. Вещь отыскалась, а молчание хозяйки было объяснено ее хлопотами по случаю… Сашиной смерти. Саша умерла от родов в одни сутки, в больнице при полицейском участке. Она разрешилась от бремени двумя мертвыми близнецами. Почти немедленно после родов она впала

в беспамятство. «Я о ней так тревожилась, так горевала! – объясняла мне моя добрая хозяйка. – И никогда я не думала, что она может быть такою хорошенькою, какою она лежала в гробу… Прелесть!.. И как она любила этого городового, с которым жила последние годы! Я его заставила справить ей хорошие похороны, и он ничего, – не воспротивился… У нее теперь очень чистенькая могилка на Смоленском кладбище… Но я никак еще не могу прийти в себя. Особенно страшно бывает, когда позабуду о ее смерти да потом вспомню: а Саша? Неужели она умерла?»…

Она умерла, и я почему-то считаю ее в числе близких мне покойников.

XXV

В эти самые минуты умирает присяжный поверенный Александров… Он ужасно страдает: он умирает от порока сердца. Три дня тому назад я заехал к нему вечером. Войдя в гостиную, я застал мою и его жену под лампою. В тишине раздавались из соседней темной комнаты непрерывные громкие стоны, которые затихали на короткие промежутки, и тогда слышалось порывистое, как бы стиснутое дыхание – одними ноздрями… Потом опять возобновлялись те же стоны. В эти небольшие промежутки между приступами душения больной возвращался к полному сознанию, но выжидал следующего припадка и пуще всего боялся задремать, потому что пробуждение сопровождалось таким спазмом дыхания, что больной опасался мгновенно умереть именно в ту минуту, когда проснется. Поэтому он не спал уже третьи сутки.

И до сих пор длится это состояние. Умирающий постоянно думает о том, что он оставляет жену и трех малолетних детей совершенно необеспеченными после жизни в полном довольстве, которое оплачивалось его талантом и трудами. К смерти он относится философски: «Я не малодушный, – говорил он еще вчера моей жене, – я испытал все лучшее, что есть в жизни, и знаю, что лучшего не будет… Но вот – они… Я рассчитывал, что доведу детей хоть до десятилетнего возраста: всё бы матери было с ними легче… А теперь…»

Он действительно всегда имел очень сильный характер. Велико же должно быть в настоящую минуту его терпение…

* * *

Был у Александрова, но его самого не видел. В гостиной пахнет гуттаперчею от подушек с кислородом, который он постоянно вдыхает. Из-за спущенных кретоновых занавесок на дверях, ведущих в его комнату, слышится то же стенание, как и три дня назад, но звуки гораздо утомленнее. Это уже почти одно мычание: видно, что голова больного в тумане от бессонницы и пытки. Желто-серый мартовский день светит в окна. В соседних комнатах раздается крик ребенка; в гостиной прохаживается и скрипит сапожками старший, пятилетний, сынок. Его маленькое личико здорово и спокойно. Жена дремлет возле больного в его темной комнате. В доме, видимо, уже поджидают смерть.

Слушаю я это мычание и думаю: скверно теперь

Александрову! И все-таки проделывает он нечто в высшей степени важное: он в эти мгновения держит окончательный экзамен. Выдержит (да, выдержит!) – и тогда… поди тогда, сравнивай его участь с нашей. Сколько раз вспомнишь его «безболезного», «бесплотного»…

А нам это еще впереди.

* * *

Александров умер вчера, около двух часов дня, как раз в то время, когда я писал предыдущие строки. Еще утром к нему заезжала моя жена и, узнав от домашних, что он отказывается от всякой пищи, убеждала его выпить молока. Он ей сказал: «И вы тоже?.. Нет, душечка, лучше уходите». Не прошло и двух часов, как приехал к нам господин, возвестивший его кончину. Жена тотчас же туда отправилась.

Его последние минуты описывают так: он выпил чашку бульону из рук своей жены; потом попросил ее отереть пот с его лица и протянул к ней губы в знак благодарности. Губы эти были уже совсем холодные. Затем он слабо сказал жене: «Мне нужно будет поговорить с тобой о делах». В это самое мгновение жена, поддерживая его голову, поразилась странным видом его раскрытых глаз. Он оказался мертвым совершенно внезапно.

Вечером я поехал на панихиду. Священник и певчие долго не появлялись. Я решил удалиться раньше службы и вошел в закрытую со всех сторон залу. Среди тропических растений, за которыми он всегда сам ухаживал, в пустой комнате лежал Александров на столе, с покрытым бумагою лицом, в сюртуке и мертвецких туфлях, задернутый по грудь прозрачной белой кисеей. Я видел из-под бумаги его длинную шелковистую бороду и посиневшие мертвые руки, скрещенные посередине тела. Вокруг торчали зажженные церковные свечи. Гроб уже был приготовлен и помещался в сторонке. Причетник при моем входе что-то промычал из привычных текстов. Я сделал земной поклон.

Вдова с детьми заперлась на другой половине квартиры и не хотела показываться на вечернюю службу. В доме распоряжалась приехавшая из Москвы здоровенная дама. Я удалился.

Возвратившись с панихиды, жена мне передала, что эта дама сама укладывала Александрова в гроб, держала его голову, поправляла его сюртук во время обряда и звучным голосом, тоном упрека сказала умершему: «Не хотел крестить своей дочки? Хорошо, что я настояла. Бог тебе простит!»

Был на утренней панихиде. Умерший лежал уже в гробу. Он

был всегда при жизни так бледен, худ и прям, что мертвец оставался довольно схожим с живым. Народу было еще мало. Вдова не присутствовала и, как оказалось впоследствии, она с минуты кончины до той минуты, когда гроб был закрыт перед выносом, не видала покойника: это очень умно, и это вовсе не означает равнодушия. Здесь видно истинное чувство и теплая любовь к живой памяти утраченного человека. Говорят, и сам Александров желал, чтобы его, тотчас после смерти, положили в гроб, закрыли крышкою и чтобы таким образом никто не видал его трупа. И это – умно.

Мартовский свет озарял квартиру. На улицах было солнце; виднелись лед и снег. Скверно, шумно и суетно. Мне предстояла на другой день деловая поездка, и потому я не присутствовал на похоронах.

* * *

Я ехал один, в пустом вагоне, в Варшаву. Наступил вечер и стало темно; кондуктор еще не зажигал свечей. Виденная мною кончина делала меня флегматичным; мои думы с бессилием возвращались к Александрову. Я вышел в коридор вагона и стал, прислонившись к окну. На полях везде лежал снег. На ясном небе показалась луна.

В этом горьком уединении, без слез в душе, с безысходной тоской на сердце, я смотрел с вопросительно поднятыми бровями на лунное поле и, словно к невидимым струнам, – импровизировал:

Один я в вагоне, к окну прислонился —
И вижу: вдоль снежного поля,
При лунном сиянии,
Колеблются тени от дыма,
Как будто по скатерти белой
Курчавые черные перья несутся…
Сухие былинки торчат из сугробов…
Леса в отдаленьи темнеют
И редкие звезды мигают над ними…
Безмолвие… Близость весны —
И друга застывшее тело,
Покрытое крышкою гроба!..

* * *

Прекрасно определил Александрова Спасович: «Он был остер, как бритва, холоден, как лед, и мужествен, как воин».

XXVI

Умер один сенатор в Гатчине от крупозного воспаления легких. Не буду его называть, потому что, несмотря на свои 62 года и на свое огромное влияние в делах, он «имени векам не передал». Поучение для всех, кто помышляет, будто его сегодняшнее влияние в обществе что-нибудь означает. И я хочу только сказать, что у этого человека были все права для того, чтобы думать, что он составляет заметную, важную единицу.

Это был высокий и худощавый человек, напоминавший журавля, – с бритым лицом бюрократического типа и черными (крашеными) волосами, гладко зачесанными назад. Он был энергичным спорщиком. Его участие в деле всегда подзадоривало состязающихся. Кажется, он стоял по преимуществу за формы, за «нормы» и за порядок. Но иногда его чиновничья голова упрямилась в другую сторону, и тогда он подбирал доказательства для своего нового взгляда – настаивал и побеждал других. Его приход в Сенат при слушании серьезного дела всегда производил впечатление – и он это чувствовал. Самодовольный и стройный, он бодро проходил мимо адвокатов, надевал за перегородкой мундир со звездами и удалялся в «присутствие». В минуты доклада и совещания очень часто и весьма многие сердца тревожно бились из-за этого влиятельного юриста. Его случайные гримасы принимались за предсказание; его улыбка или отрицательное помахивание головой (он часто себя не сдерживал) толковались на все лады. Он был – сила. После объявления резолюции его провожали обрадованные или разочарованные взоры. Каждый сознавал, что так или иначе он был одною из главных причин состоявшегося решения. Сенатский паркет и бархатные кресла – при освещении солнца или при электрических лампочках Эдисона – как-то важно обрамляли эту фигуру и придавали ей значение истинной власти.

Он вел очень гигиеническую жизнь; его можно было встретить в числе ранних пешеходов; он гулял по целым часам в сравнительно легкой по сезону одежде и казалось, что ему удалось найти эликсир вечной молодости.

И вот он умер летом от простуды, в самом гигиеническом пункте для грудных заболеваний, в Гатчине, – и умер в такую глухую пору, что почти некому было явиться на его погребение. К началу сенатских занятий все привыкнут к его смерти. Он ушел совершенно бесследно.

XXVII

Странные воспоминания иногда на всю жизнь западают в душу.

Однажды, в солнечный осенний день, я встретил в Симеоновском переулке одну нашу знакомую, приятельницу моей жены, приговоренную докторами к смерти от чахотки. Это была худенькая, прозрачная блондинка со впалыми красными щеками, крючковатым носом, туманно-голубыми глазами и тихим сиповатым голосом. В ее тонкой фигуре с несколько наклоненною вперед спиною и пышными золотистыми волосами на затылке, было много женственного. Ей было тогда под тридцать, и она мечтала достигнуть полных тридцати лет и даже перешагнуть этот возраст, чтобы ее болезнь затянулась как можно дольше. Мне было двадцать шесть; я был мнителен и, как всегда (в молодые годы в особенности), относился к смерти, как к чему-то безумно непонятному. Мы с этой дамой прошлись рядом по тротуару вдоль решетки, ограждавшей церковь Симеона и Анны; она мне говорила именно о том, что ее здоровье очень плохо и что для нее очень важно дожить до тридцати лет. Слушая ее разговор и содрогаясь от ее опасений умереть так скоро, я в то же время был убежден, что ее тревоги неосновательны. Но почему-то эти несколько шагов, которые мы сделали вместе по сухому тротуару возле чугунной решетки в солнечный день – застряли в моей памяти с такою силою, что я никогда не мог их забыть.

И не прошло одного года, как мы с женою, извещенные о смерти этой дамы, вошли к ней в квартиру (в доме Елисеева по Воскресенскому проспекту, во дворе), – и я увидел на низком катафалке ее высушенную мертвую головку. Свежая простыня покрывала ее нагое костлявое тело до самого подбородка.

Ее похоронили в Александро-Невской лавре. И долго, необычайно долго, мне постоянно чудилось где-то там, в конце Невского проспекта, в самые шумные и радостные дни, ее жалкое, горизонтально лежащее под землею тельце, вероятно, уже распавшееся на сухие кости.

И тем более – тротуар возле чугунной решетки Симеоновской церкви с течением лет делался для меня каким-то фатально-живучим памятником этой исчезнувшей женщины.

Я редко проезжаю мимо этого тротуара без того, чтобы не слышать преследующего меня с его плит отвратительного шепота: «memento mori»[8]…

Еще недавно, в феврале настоящего года, проезжая мимо него на извозчике, я жаловался сидевшему на козлах рыжему мужичку

на суровую зиму и говорил ему: «Когда же наступит теплое время?» – А он мне ответил: «Кто ж его знает, барин? У Бога, вишь, как ни стараются, – ничего не разузнают…»

Я посмотрел на серое морозное небо, вспомнил о теплом солнце, о теплых весенних дождях, стал думать о погоде вообще, о грязных осенних дорогах – и все это вместе, все земное вообще, с чем мы так свыклись, – показалось мне близким до слез, – неотделимым от меня самого до такой степени, что я с невыразимою болью мучительно почувствовал, как ужасно дать все это человеку только на срок, – внедрить его целиком во всю эту природу и затем – убедить его, что все это от него отымется безвозвратно, т. е., что ему, с известной минуты, будет на веки вечные отказано хотя бы в одном вдыхании воздуха, хотя бы в одном взгляде на мир, хотя бы в одной единственной мысли, хотя бы в одной попытке к произнесению слова…

XXVIII

Вчера узнал подробности о смерти одного петербуржца в Париже. Это был человек весьма приметный среди богатых светских людей. Впрочем, он принадлежал к свету только по рождению, но, по своим личным вкусам, отдался целиком одному только полусвету. Он признавал одну радость, одну цель в жизни: наслаждение с женщинами, наслаждение разнообразное и ежедневное, – вполне животное и вполне откровенное. Вспоминаю его худощавое лицо сильного брюнета с усами и бородкой, французский покрой его платья, его мелькание в загородных садах – всегда в обществе швеек, модисток, продавщиц и кокоток – словом, всех доступных женщин столицы, которые все одинаково любили его галантность и доброту. Он желчно смеялся над романтиками и поэтами.

Осенью прошлого года я был впервые ему представлен в одном из номеров Европейской гостиницы, где жил его брат. В то время он уже имел вид мертвеца, смотрел мрачно, говорил чуть слышным осипшим голосом и однако же оставался непреклонным в своих убеждениях. Близко знавшие его люди передавали, что он так же постоянно льнет к легким женщинам, но что его последние силы исчезли и что теперь он безутешен и зол.

Отсюда он уехал в Париж. Там – уже неизлечимый калека – он до последнего дня посещал кафешантаны и прочие увеселительные места. Его прогрессировавшая болезнь стала для него невыносимою, хотя он еще держался на ногах.

Весною он решил застрелиться. Он написал парижскому префекту следующее краткое письмо:

«Mr. le Préfet!

Je vais me tuer. Je demande la crémation et pas de momeries»[9].

Затем он надел чистое белье, модный костюм, лег в кровать, выстрелил себе в рот – и умер мгновенно, не пролив ни одной капли крови.

Его желание было исполнено: прах его был сожжен и сложен в урне, которая была без всяких обрядов зарыта на одном из парижских кладбищ.

XXIX

Никто не молодеет так успешно и быстро, как все умершие: люди молодые вскоре нам кажутся просто детьми, наши ровесники навсегда остаются юношами, а достоверные старики решительно никогда не стареют в могилах.

Так же быстро молодеют и наши портреты, потому что снять с себя в известную минуту портрет – значит то же самое, что в этом виде умереть.

XXX

Труднее всего выразить и передать зрительно психические особенности каждого отдельного человека. Как, например, отражается в вашей душе время и пространство? Как рисуется в ней год, с его переходами от одной весны к другой? Как у вас в душе отражается Европа? Россия? Отдельные города?

Мне, например, дорога из Петербурга в Москву всегда рисуется сверху вниз, как на карте. Год представляется мне в виде круга или колеса, на вершине которого находится зима, а внизу – лето; весна и осень составляют боковые переходы. Месяцы: март, апрель, май чередуются передо мною один за другим, на широкой ленте, по скату к летним месяцам – и затем, от середины лета, идет подъем на осень. Да, осень как бы дает мне чувство восхождения куда-то; зима – стелется ровной дорогой; весна кажется мне цветущею долиною, на которую я смотрю сверху, с невольным ожиданием каких-то новых горизонтов – и наконец, в течение лета я как бы нахожусь в спокойной и ясной низменности. И затем – опять осень…

А вся Европа, с ее подвижною политическою жизнию текущего времени, передаваемою во все концы мира газетными депешами? Ведь конечно, и эта Европа, с своею жизнию, в каждой голове имеет свою особенную физиономию. Например, в данную минуту: в Париже – Палата депутатов изображает правительство среди рабочих стачек, динамита, сквернословия, среди всемогущей молодой чувственности, среди требовательной жажды жизни, заявляемой всеми классами и всеми возрастами… В Берлине – самоуверенно наслаждается «манией величия» заносчивый Вильгельм II в своей каске с орлом, – воскрешающий средневековую власть и все божественные атрибуты монархии среди своего трудолюбивого и умеренного народа… С разношерстной Австрией кое-как справляется почтенный Франц Иосиф, не отличающийся ровно ничем, кроме своей давности на престоле… У нас… да разве не все равно? Я хочу только сказать, что все это вместе взятое складывается у каждого в особую картину и что каждый взрослый человек невольно следит за нею, как за любопытною повестью, которая затем, в день его смерти, обрывается навсегда, а что будет после?.. Занавес опускается.

XXXI

Постоянно увеличивается число моих знакомых, вступающих ранее меня в область смерти. Умер присяжный поверенный Алексей Михайлович Унковский, бывший в течение целых десяти лет, в самую модную эпоху, главою столичной адвокатуры.

Невысокий, худой, сутуловатый, с крючковатым носом, с лицом, побитым оспою, с жидкою бородкою, с умными и добрыми серыми глазами под лысым лбом, – в широком удобном пиджаке, – с сигарою в руке, – этот неказистый с виду человек производил на каждого неотразимое впечатление прямоты, добродушия и справедливости. Он как-то неподражаемо недоумевал перед всем нечестным. Его доброта была чужда сентиментальности: в основании этой доброты чувствовалась такая принципиальная неколебимость, что Унковский начинал заразительно и чисто по-детски смеяться, когда перед ним возникали чьи-либо действия, несообразные с общечеловеческою правдою. Никто не завидовал Унковскому, потому что завидуют обыкновенно тем, кто любит, ценит и выдвигает самого себя; но Унковский был совершенно чужд этим слабостям. Невозможно было не оценить этой редкой натуры; нельзя было выдумать лучшего председателя и главы для сословия, состоявшего из людей увлекающихся, самолюбивых, нервных, соперничающих из-за успеха и т. д.

Либерал, друг Салтыкова, Унковский с 1881 г. как-то сразу почувствовал себя усталым и бесповоротно ушел из председателей Совета присяжных поверенных. Сословие перестало выбирать его в председатели; Унковский начал жить замкнуто, но при встречах с товарищами, осунувшийся и постаревший, он по-прежнему оставался тем же простым, честным и теплым человеком.

Сегодня, 22 декабря 1893 года, Унковского «отпевали» в Спасо-Преображенском соборе. День был морозный. У боковых ворот чугунной ограды собора (подъезжая со Спасской улицы) – я увидел дроги с белым балдахином. Впервые вступил я в Спасо-Преображенскую церковь. Она была почти полна толпою людей из адвокатского мира. В церкви было светло. Все стояли в шубах. Небольшой раскрытый гроб виднелся впереди толпы, но с моего места не было видно самого покойника. Много седых голов набралось в нашей корпорации… С жуткою думою поглядывали на гроб эти седые головы; более старые из нас даже перешептывались о количестве своих лет. Спасович, поседевший менее других, но – почти однолеток Унковского, как-то обиженно

супил свои брови, держа в руке панихидную свечу и, со скукою во взоре, рассматривал сквозь очки стены церкви, поворачивая свою стриженную голову, плотно сидевшую в туго застегнутом енотовом воротнике. Был тут и Вейнберг – убежденный и неослабевающий участник всяких чествований. Он жаловался на малокровие, грозился, что умрет от той же болезни, как и Унковский, и говорил, что за последние годы он так изучил панихиды и весь ритуал погребения, что мог бы заменить любого священника. Певчие пели мягко и даже – поэтично. Нужно признать, что акустика собора так хороша, что она способна украсить каждую мелодию. Литургия служилась в светлых ризах. Главный декламатор, т. е. дьякон, – был совсем юный брюнет с пышными волосами и с очень свежим голосом. Весь обряд прошел сравнительно не мрачно. Священник надел Унковскому бумажный венчик и вручил ему «грамотку» без всякого драматизма, деликатно упрощая эту формальность.

На этот раз во всей этой церемонии мне были неприятны только две вещи: во-первых, фасон наших гробов – в виде корыта с узким дном, – настоящего корыта для болотной воды – и во-вторых, необыкновенно глупые лица золоченных херувимов с завитыми волосами по углам белого балдахина на погребальной колеснице.

Я проводил процессию до угла Бассейной. По дороге мы встретили еще две возвратившиеся с похорон, марш-маршем, пустые колесницы – обе со светлыми балдахинами и с гнусными нововведениями обойного искусства в самом покрое и композиции этих драпировок.

XXXII

Выходит, будто ведешь бухгалтерскую книгу и не знаешь, к какому году следует отнести убыли, так как все эти убыли случились на границе двух годов. Не успел умереть Унковский, как вслед за ним, 26 декабря, умер Сетов, 31 декабря – Гайдебуров, а вот сегодня, уже 3 января нового года, я слышу о смерти Иванова-Классика. Является невольная привычка и усталость.

Нужно ли набрасывать физиономии этих трех покойников?

Более других я знал Сетова. Его называли не иначе, как «папа-Сетов». Это был некогда знаменитый в Петербурге тенор, женившийся на знаменитой также в свое время красавице из цирка Пальмире Анато и приживший от нее шесть дочерей. О каждой из этих дочерей можно было бы написать отдельный большой роман.

По случаю обилия дочерей, а также потому, что, сделавшись под старость лет антрепренером, Сетов отечески любезничал со всеми женскими персонажами своей труппы, – Сетова и прозвали «папа». Дочери боготворили его. На одной из них, самой хорошенькой, был женат мой брат Павлик. Теперь я вспоминаю крепкого и элегантного старика-Сетова с его добрыми голубыми глазами, с лысой головой, напоминавшей Бисмарка, с его нежным голосом, с его подвижною и жизнерадостною натурою, с неустанными антрепренерскими трудами и в особенности – с его любовью к покойному брату, от которого он был всегда в восторге. Не дальше, как минувшею весною, Сетов, уже больной, но мало изменившийся и, как всегда, светски любезный, был у нас в доме, пил чай с вареньем при свете апрельского солнца, ласково болтал с своими двумя дочерьми, которые приехали к нам вместе с ним, и я помню, что, когда зашла речь о Павлике, Сетов, с неизменною любовью вспомнив о брате, произнес: «Pauvre Pawlik!»[10] В самом звуке этих слов чувствовалось, что Сетов, любивший жизнь, считал умерших – несчастными… Теперь и он попал в эти «pauvres». Вероятно, его похоронили недалеко от моего «бедного» брата.

С Гайдебуровым я был мало знаком, но любил в нем принципиальную чистоту убеждений, возвышенную преданность литературе, его добрые и деликатные манеры, его тихое бледное лицо, исполненное миролюбивой сдержанности и однако же озарявшееся по временам детски-светлою улыбкою, когда он начинал говорить о своих литературных святынях.

С Ивановым-Классиком я вовсе не был знаком. Но мне кто-то

указал в каком-то публичном собрании его красное демократическое лицо. Его ритмически правильные стихи, всегда проникнутые сердечным либерализмом, давно попадались мне на глаза в «Петербургской газете» с аккуратненькой подписью «Иванов-Классик» – с подписью, в которой популярнейшая, почти безличная фамилия «Иванов» как-то напрашивалась на внимание, благодаря прозванию «классик», как будто автор желал этим прозвищем сказать, что он держится лучших литературных преданий. Действительно, Иванов-Классик всегда писал хорошими стихами. Он сумел выразить в этих благонамеренных напевах свою добрую русскую душу. В его маленьких глазах, на его неказистом лице – эта душа светилась совершенно ясно.

Итак, этих трех разнородных людей нужно теперь занести в отбывших.

И велика ли та память, которую они о себе оставили?

XXXIII

«Жатва смерти» разгулялась в кругу знакомых мне людей. Вчера вечером, 4 января, был на «погребальном богослужении» в квартире присяжного поверенного из евреев, Павла Яковлевича Левенсона. Покойный принадлежал к тому же разряду свободомыслящих и добрых людей, как и три предшествующих мертвеца. Он был родом с юга, воспитывался в Харьковском университете, как я и все мои братья, и потому, в сношениях со мною, как бы считал себя земляком. Он преклонялся перед остроумием Щедрина и любил подсмеиваться над всеми общественными неправдами на особенном жаргоне этого сатирика. Всякий, кто сталкивался с Левенсоном, чувствовал его гуманную честность и порядочность.

Левенсон умер от порока сердца, который у него обнаружился вдруг, с год тому назад. Он всегда казался очень крепким человеком, но в последний год сделался мнительным, задумчивым; ходил и говорил тихо, щеки его ввалились, он жаловался на одышку. За неделю перед смертью припадки удушья усилились. Говорят, что в два-три последних дня он целыми часами кричал. Когда его спрашивали: «Болит ли у вас что-нибудь?» – он говорил: «Нет» и объяснял, что в этих криках он находит какое-то удовлетворение. Наконец его задушило…

В квартиру покойного собралось довольно много народу. Я привез туда Спасовича с обеда у Вейнберга. Адвокатура присутствовала в лице своих выдающихся деятелей. Еврейская служба расстроила меня гораздо менее, чем обыкновенно расстраивает православная. Лицо умершего было задернуто кисеею, и черный покров с белыми еврейскими письменами окутывал гроб со всех сторон по самую голову покойника. Здоровый и румяный рыжий кантор начал свой рыдающий и благозвучный речитатив на древнееврейском языке. Грустный и нежный хор мальчиков подхватывал его причитания стройным пением из соседней комнаты. Все мы, без различия вероисповеданий, накрылись шапками. Недалеко от меня, в передней, надел остроконечную котиковую шапку, напоминавшую монашескую скуфью, бледный и тощий Владимир Соловьев, с его длинными прядями поседевших кудрей и священнической бородой. И мне почему-то нравились эти шапки, как будто все мы, присутствующие, находились в дороге, в каком-то суетливом путешествии, среди которого мы утратили одного из наших спутников.

Раввин произнес по-русски речь о смерти. Она, по-видимому,

была приготовлена у него давно и, с небольшими вариациями, применялась им к отдельным случаям. Но эта речь была тем хороша, что она обращалась к «Великому Богу», к «Тайне Мира», к ветхозаветному «Адонаю», который – даже по словам самого Спасителя – выше своего Сына.

А холодная голова Левенсона, прикрытая кисеею, все-таки составляла поразительный, непримиримый контраст со всею окружающею толпою, с этим таинственным пением и с бессильным красноречием раввина…

XXXIV

Как мне жаль всех умирающих! Не говорю о молодых существах, о прелестных женщинах, умирающих от первых родов, о свежей и божественной красоте, предаваемой мукам и гниению, о загадочных, талантливых детях, задушаемых смертью при первом проблеске вполне самобытного, едва раскрытого для жизни сознания… Но когда умирают даже люди более старые, чем я, мне все-таки бесконечно жаль их: они привыкли к жизни, которой они ни у кого не просили, и эта жизнь у них отнимается. Переживая их, вдыхая воздух, когда они уже в могиле, я будто чувствую себя пред ними виноватым; мне кажется, что я решительно ничем не заслужил своего бесконечного преимущества пред ними. Они уже ничто, а я еще – все. Положим, и я таков – на время. Но мы так устроены, что текущая минута кажется нам необходимою, как бы она ни была ничтожна; не быть в эту минуту на свете – значит превратиться в нуль. И ведь в самом деле: вот вам труп гениальнейшего человека, а вот вам – едва приметная мошка, плавно и самодовольно летящая в лучах солнца. Насколько теперь она выше его. Никакого сравнения быть не может.

XXXV

Чья память остается на земле? Только память о людях, которые своими делами вырезали на чем-нибудь свое имя. Великий писатель, великий общественный деятель – все это путешественники, очарованные жизнью и оставившие у всех на виду свой вензель в память своего временного пребывания среди нас. Каждая книга, каждая историческая карьера – напоминают мне работу перочинного ножика на скамейке в красивой аллее или на стволе крепкого дерева в прекрасной роще.

После победы при Маренго Наполеон говорил Бурьенну: «Вперед! Вперед! Еще несколько великих событий вроде этого сражения, и я останусь в потомстве». – «Мне кажется, – заметил Бурьен, – что вы уже достаточно сделали, чтобы о вас говорили еще долго и повсюду». – «О да! – ответил Наполеон, – довольно сделали! Вы очень добры… Правда, что я покорил менее, чем в два года, Каир, Париж и Милан; и однако же, мой друг, если я умру завтра, я не буду иметь *по истечении десяти столетий,* даже одной полустраницы во всеобщей истории». – И он был прав. Истинно сильный человек всегда метит, по крайней мере, – на целое тысячелетие вперед.

XXXVI

В феврале прошлого года я был приглашен в Минск на один процесс тамошним поверенным Виткевичем. В первую мою поездку заседание не состоялось, но я побывал в доме у Виткевича и успел сблизиться с его семейством.

Виткевич – худощавый и моложавый брюнет лет сорока пяти, очень подвижный и детски-веселый. Глаза у него серые, лоб открытый, волосы короткие и курчавые, как у негра, зубы белые, речь торопливая и мягкая; от всей его фигуры веет благородным добродушием. Сам он и его семья – настоящие, вполне хорошие поляки. Его жена – высокая и тонкая блондинка, рано поседевшая от мигреней, с нежными линиями правильного и задумчивого лица, – сдержанная и тихая в манерах. У них четыре дочери, почти погодки: старшей восемнадцать, следующей семнадцать, остальным четырнадцать и пятнадцать лет. Квартируют они в одноэтажном доме, во дворе, на косогоре. В свежих и уютных комнатах много света; на стенах и столах много художественных безделушек. Во всем виден благородный вкус, хозяева очень хлебосольны: закуски у них обильные, вина хорошие, блюда мастерски приготовленные. Все дочери миловидны: две старшие – прямо хорошенькие: светловолосые, сероглазые, с черными ресницами. Две младшие – еще подростки; волосы у них несколько темнее и обе они в коричневых гимназических платьях. Самая младшая, Анеля, выше всех ростом; ее волосы острижены в скобку. Незадолго до моего приезда она захворала какою-то болезнью в ноге, но, несмотря на эту болезнь, она имела цветущий вид и казалась очень крепкою с своим преждевременно сильным ростом. Девочка эта большею частью сидела, имея при себе палку, на которую опиралась, когда вставала. Мне сказали, что, должно быть, она ушибла или вывихнула себе колено на катке и что, вероятно, при помощи бандажа и компрессов скоро поправится. Родители очень ее любили и видели в ней будущего живописца, судя по ее способности быстро зарисовывать каждый сюжет. Анеля действительно имела какое-то значительное выражение в своих серых глазках, говорила тихо и улыбалась снисходительно-доброю улыбкою, свойственною избранным натурам.

Я очень полюбил семейство Виткевича.

В следующий мой приезд, когда, месяц спустя, заседание состоялось, я нашел в Минске только Виткевича и его предпоследнюю дочь, гимназистку, специально увлекавшуюся математикой, и альтруистку по природе: она помогала

решительно всем своим подругам в подготовке к экзаменам и, сверх того, теперь, ввиду отсутствия матери, заведовала хозяйством. А мать уехала с остальными дочерьми в Варшаву: старшие отправились туда для продолжения курса польской литературы, а младшая была увезена для совещания с варшавскими хирургами по поводу загадочной болезни ее ноги, так как минские доктора ничего не сумели поделать с этою болезнью. Из Варшавы получались несколько тревожные известия, и тамошние медики поговаривали о необходимости серьезной операции. Мне было очень жаль эту милую девочку, но впоследствии, летом, я узнал, что ей лучше, что ее поместили в какую-то лечебницу вблизи Вены и что она, вероятно, скоро выздоровеет.

Поздно осенью, в Петербурге, до меня дошел слух, что маленькая Анеля безнадежна и что у нее на колене – смертельная *раковая* опухоль!

Зная нежность Виткевичей к своим детям, я с ужасом думал, какую пытку они должны выносить от сознания медлительной и неизбежной потери этого ребенка. От друзей Виткевича в Петербурге я слышал в течение всей зимы, что «с Анелей все то же». На Рождество я узнал, что старшая дочь Виткевича, Эмилия, выходит замуж, и в январе действительно получил от него печатное извещение о свадьбе. Значит, Анеля была еще жива. В феврале мне предстояло ехать по делу в Гомель, через Минск, и я написал Виткевичу, что желаю проездом навестить его семью. Он ответил депешею, что боится только тягостного впечатления, какое может на меня теперь произвести весь его дом, погруженный в горе, – но что будет очень рад меня видеть. Я выехал 4 февраля, решив на другой день остановиться в Минске. Об этом я предварительно написал Виткевичу.

По дороге мне вспоминается прошлый год. Тогда вся эта семья казалась одною из счастливейших. Дочери были приятельски нежны с моложавыми родителями; все были веселы, все были вместе. Теперь уже одна из дочерей выпорхнула; другая при смерти.

Виткевич выехал встретить меня на вокзал. Его волосы имели заметный серый оттенок; сдержанное горе слышалось в его глухом разговоре, несмотря на его обычную любезность. Он сообщил мне, что со дня свадьбы Эмилии больной сделалось хуже и что теперь она «в последнем периоде».

Переодевшись в гостинице, я направился по маленькой улице, идущей в гору, к дому Виткевича. Меня ждали к обеду. В передней меня охватил запах йодоформа – тяжелый запах, напоминающий лечение от всякой гнили. Все, начиная от

прислуги, держали себя тихо. Квартира, казавшаяся прежде просторною, теперь, благодаря чуткости больной, вдруг как бы сузилась, потому что каждый резкий звук, где бы он ни раздавался, мог потревожить умирающую. А она со времени свадьбы Эмилии сделалась особенно раздражительною ко всякому проявлению веселой и шумной жизни вокруг нее. И каждый раз, когда до нее доносился чей-нибудь смех, – она рыдала. Я поздоровался с матерью, со второю дочерью (предпоследняя постоянно сидела возле больной сестры) и мы, беседуя вполголоса, уселись за обед в столовой, смежной с той комнатой, где лежала больная. Двери в эту комнату были притворены, как из гостиной, так и из столовой. Там, в прошлом году, был маленький будуар мадам Виткевич, разделенный драпировкой, за которою спала Анеля с своей матерью. Там сидели мы тогда все вместе, и Анеля, беспечная, не придававшая значения временной боли в своем колене, отзывалась детским смехом на наши разговоры. Теперь – йодоформ, тишина и общая печаль…

Обычное течение жизни было настолько резко нарушено, все до такой степени находились в зависимости от всего, что происходило в Анелиной комнате, все помышления этой семьи так неразрывно были связаны с той притворенной комнатой, что мне большею частию приходилось одному сидеть в гостиной, и я, несмотря на истинно дружескую и бесцеремонную приязнь ко мне этого дома, подумал, что мне все-таки лучше будет поскорее уйти в гостиницу. Из расспросов о больной я узнал, что она до сих пор не сознает опасности своего положения; что еще вчера она высказала свое отчаяние лишь по поводу того, что «ей, вероятно, всегда придется лежать» – заметьте – лежать, а не умереть. Своей ужасной опухоли на колене – гнойной и кровоточивой – она ни разу не видела, потому что во время перевязок ей закрывали глаза, а самой взглянуть на это уродство ей до сих пор не пришло в голову. В то время как мы разговаривали, – из-за двери послышались всхлипывания, раздававшиеся каким-то привычным и беспомощным звуком в этом тихом доме. У меня сердце перевернулось от этого глубокого детского страдания; мне подумалось, что мой приезд вызвал эти слезы; я заторопился уходить. Но мне объяснили, что «с ней это бывает постоянно, по нескольку раз в день, без всякой понятной причины». Однако, воспользовавшись первой минутой, когда я остался один, – я предпочел уйти.

Мягкий снег лежал на улицах и на крышах домов. Луна светила из-за легкого тумана. Было свежо и тихо.

Придя к себе в номер, я зажег четыре свечи, потому что

комната была большая, а ламп для приезжающих в гостинице не имелось. Я ходил по комнате и смотрел в окна. Я видел мирный зимний пейзаж, озаренный тусклою луною. Это была картина благодатной ночи в провинциальном городе: белые шапки высоких крыш, редкие красные огоньки в окнах, синевато-молочный блеск задумчивой луны… Какие часы переживает в эту ночь Анеля? За что это дитя не может дышать, как все? Почему на нее взвалена судьбою эта долгая и неодолимая тягота умирания? С какой усталостью и недоумением, и беспомощностью она переносит теперь каждую следующую секунду, не постигая того закона, по которому ей одной, среди здоровых, не позволено ни под каким видом быть такою, каковы все они.

В десять часов вечера ко мне пришел Виткевич и попросил меня непременно прийти завтра к ним в часы завтрака и обеда; он меня уверил, что я никогда не стесняю, и вскоре ушел, говоря, что ему нужно кормить на ночь больную, так как она привыкла, чтобы это делал именно он.

На следующий день была чудная погода. Еще ранним утром яркое солнце наполнило мой номер теми обильными лучами, которые могут загораться только уже при начале весны. Это солнце грело и невольно веселило, напоминая не то детство, не то молодость; чувствовалось бодрое и радостное утро; мебель и стены моей комнаты, все мои вещи – были веселы. Самовар, внесенный слугою, блестел и шипел; чай, налитый в стакан, отливал красивым темно-гранатным цветом. Салфетка на столе, сухари в корзине купались в золотом свете. Из окон, заставленных цветами, так и било горячее, неодолимое солнце, охватившее ровным золотом все мое помещение.

Одевшись, я вышел на улицу. Крепкая, светло-желтая земля была приморожена. Кое-где, на сильном припеке, слегка таяло. Крыши были покрыты снегом, но в лицо веяло теплом. Небо было ясное, безоблачное. Я побрился и прошел по нескольким улицам. К двенадцати часам я позвонил у Виткевичей. Сам Виткевич уехал в суд; в столовой я застал оконченный завтрак и увидел на столе еще не унесенное блюдо макарон; в комнате никого не было. Тотчас же выбежала откуда-то мадам Виткевич и начала суетиться, желая меня получше угостить, но я попросил ее сесть рядом со мною и убедил ее, что, кроме остатка макарон, мне ничего не нужно. Солнце озаряло нас обоих. Я завтракал и вполголоса беседовал с хозяйкой. Я говорил о разных разностях, о моей семье, о моем мальчике. Мадам Виткевич заинтересовалась. А за притворенною дверью, где все было тихо, по-прежнему лежала Анеля… После завтрака я ушел к себе читать свои деловые бумаги.

За обедом мадам Виткевич сообщила мне, что мои рассказы о моем мальчике очень понравились больной и что она сказала: «Ну, мама, говори еще!., он должен быть очень балованный!» Этот отклик умирающей на то, о чем я говорил, меня чрезвычайно растрогал; я был счастлив, что хотя чем-нибудь развлек ее; в этом погибающем теле я видел отзывчивый милый ум. Этот ум, эта свежая детская душа – погибнет… Меня тронуло еще и то, что больная, по словам ее матери, нашла самый тон моего разговора, доносившегося до нее из-за двери, очень мягким, нисколько не раздражавшим ее слуха. «Вот если бы вы всегда так разговаривали», – добавила она.

Вечером я опять занимался у себя в номере, и на другой день, в три часа, должен был ехать в Гомель. Ради моего отъезда Виткевичи устроили поздний завтрак, вроде обеда. Погода в день моего отбытия испортилась. Подул северный ветер, в воздухе кружились редкие снежинки и небо побелело. Мы сели за обед; почти вся семья была в сборе; тут же находилась и старшая сестра Виткевича. Я сидел спиной к окну и прямо передо мной белела крашеная дверь, ведущая в переднюю. В притворенной комнате Анели было по обыкновению тихо. Мы говорили шепотом о ее болезни. «Хотя бы в таком виде сохранить ее!» – тихо заметил отец, думая о дочери. Я допивал вино, смотрел на белую дверь против себя, осматривал всех нас, сидящих вокруг стола – и весь этот февральский день, с торчавшею передо мною белою дверью и с нашим завтраком – вся наша жизнь показалась мне чем-то бесконечно дрянным и ничтожным в сравнении с тем серьезным процессом, который теперь переживала Анеля, – именно потому, что она уже не могла ни сидеть, ни завтракать. И как бы вторя моим мыслям, сестра Виткевича сказала: «О смерть! Это такая поэзия!»…

Встав из-за стола, я улучил минутку, чтобы заглянуть сквозь щелку двери в комнату больной. И я ее увидел. Она лежала в рубашке, покрытая простынею, на широкой кровати. Ее здоровая нога высоко выдвигалась под простынею костлявым треугольником, потому что она ее держала стоймя, в согнутом виде, – ей, очевидно, так было удобнее. Голова низко лежала в подушках, обращенная тусклым лихорадочным взглядом к окну; большие серые глаза неподвижно куда-то смотрели; щеки были восковые; спутанные темные волосы задумчиво украшали эту трагическую голову; длинные черные ресницы завивались кверху и точно окаменели над глазами. Все это я приметил в одно мгновение…

Я простился. Виткевич поехал меня провожать на вокзал, версты за полторы от города. По дороге он продолжал

рассказывать о дочери и говорил, что когда ему приходится ухаживать за больной и брать в руки ее тело, то его каждый раз пугает ощущение одних костей под его пальцами – до того исхудала его девочка!

Мы выезжали из Минска. Кругом виднелись снежные поля. Я спросил Виткевича: «А где у вас католическое кладбище?» Он мне указал куда-то довольно далеко, в белое пространство. И я подумал: «Ведь вот, эта пытка будет продолжаться до тех пор, пока эти живые косточки не перевезут туда. А там уж…»

Я крепко поцеловал Виткевича и уехал. На обратном пути, когда я, спустя неделю, опять проезжал через Минск, Виткевич выехал ко мне навстречу и сказал, что дочери все хуже, что она ничего не ест и с каждым днем слабеет.

Она умерла только через полтора месяца.

XXXVII

6 февраля, в полночь, поезд остановился в Гомеле. Название этого города было мне известно из Гоголя и как-то соединилось в моем представлении с югом, с Малороссией. Вокзал был довольно просторный, приличный и многолюдный. Когда я прошел через него к извозчикам и уселся с моими вещами в дрожки, передо мною открылась чистенькая улица, белевшая мелким снегом на мерзлой земле и освещенная непривычно ясною для петербуржца луною. Ночь была свежая, тихая, прекрасная. Огоньки в домах кое-где горели. Обнаженные тополи поднимались из-за крыш. Мне вспоминалось детство, передо мною возникала юность, проведенная на юге, когда я видел такие же лунные ночи, – и бессильное сожаление подкрадывалось к сердцу: «Теперь этим живут, этим будут жить другие… Пускай! Так быть должно». Мы проехали две-три улицы и по адресу, сообщенному заранее, подкатили к длинному двухэтажному дому с яркими фонарями у подъезда, – к еврейской гостинице «Континенталь».

Но едва раскрылась передо мною широкая стеклянная дверь – на меня пахнуло сыростью, прелым воздухом: вновь построенная гостиница была открыта только в эту зиму. Для меня был приготовлен номер внизу, сейчас же от дверей налево, и, войдя в него, я почувствовал сразу, что с температурой такой комнаты я не сживусь. А комната, для уездного города, была блистательно роскошная: высокая, широкая, с новыми обоями в золотистых букетах, с изразцовою печью, красивым письменным столом, веселою узорчатою мебелью, просторною железною кроватью и яркими ширмами из модного кретона. Но было поздно менять помещение. Мне пришлось укутаться на ночь, елико возможно, в расчете найти завтра более теплую комнату.

Просыпаюсь. Веселое солнце сквозь коленкоровые опущенные шторы показывает мне во всем блеске претенциозное богатство отведенной мне комнаты. Но мне холодно пошевельнуться под одеялом, которым я покрылся под самый подбородок, да еще подсунул его под себя с боков. Однако я наконец решаюсь встать, умыться и поднять вопрос о переселении.

Выхожу из своих дверей прямо к подножию парадной лестницы. Гипсовый позолоченный бюст Наполеона встречает меня у окна, при повороте лестницы во второй этаж. Наверху вступаю в светлый, сияющий солнцем, коридор с номерами. Пахнет новою краскою. Из конца в конец коридора сквозит, вследствие открытых форточек. На этом сквозняке весело бегает неопрятная горничная, молоденькая, румяная, в ситцевом платье.

Мне отворяют номер в два окна, с красными обоями, и меня обдает теплом. Я решаюсь перебраться сюда. Крашеный пол этой комнаты смущает меня, потому что он мне всегда холодит ноги, но хозяин предлагает застлать его персидским ковром. Пока я капризничаю (поневоле, вследствие моих невралгий) и жду своих вещей снизу, ко мне входит весьма приличный и стройный еврей лет сорока, блондин с проседью, частный поверенный из Варшавы, с бриллиантовым перстнем на указательном пальце, – рекомендуется и предлагает мне свою протекцию перед хозяином для наилучшего устройства меня в гостинице, так как сам он в ней живет по делу около месяца и пробудет еще недели три, в виду чего он даже выписал к себе жену. Он хвалит избранную мною комнату и говорит, что она самая теплая во всем доме. Я его благодарю; решаюсь остаться, поручаю прислуге перенести в этот номер мой багаж, а сам выхожу на воздух, чтобы осмотреть Гомель и повидаться с адвокатами, приехавшими сюда по общему со мною делу.

Застал своих товарищей в другой гостинице («Гранд отель»!), более сухой и теплой, потому что она старая, но зато – грязной, мизерной и суетливой. Немного поговорив о предстоящем деле, я вышел побродить.

У меня осталось еще с детства любопытство к новым местам. Бывало, приедешь хотя бы в новую помещичью деревню, и на другой день, просыпаясь, уже думаешь, что вокруг тебя все – незнакомое, неизвестное и чувствуешь радость от ожидания все это увидеть и осмотреть. В слабом и вялом виде во мне еще осталось это чувство.

Улицы Гомеля довольно чистые и приличные. Постройки большею частью двухэтажные, каменные. Много лавок. Между вывесками выдаются парикмахерские с большими картинами, изображающими усатых мужчин, завешанных простынями. Мостовые хорошие. Улицы идут то в гору, то под гору, с небольшими наклонами. Украшение города составляет замок князя Паскевича, на самой его окраине, перед широкою долиной реки Сожа.

И я пошел в гору по направлению к замку. Тонкий снежок оставался только по краям улицы благодаря сильному солнцу; середина дороги была черная, с ничтожною мелкою грязью. Благодатный юг чувствовался в этой обессилевшей зиме. Тишина… Воспоминания. Какие-то хорошие, здоровые, молодые, мирные дни встают передо мною из далекого прошлого; смуглый мужик, деревенское поле, белая церковь, белый одноэтажный домик, вкусная пища, пение петуха, что-то простое и невозвратимое обступает меня в те минуты, когда я гляжу

ослабевшими глазами на этот блеск февральского дня и поднимаюсь в гору медленным шагом в меховой шинели.

Между тем в конце улицы из-за горы уже показалась башня замка, светло-оливковая, новенькая, четырехугольная, с зубчатым верхом. И я приблизился к владениям Паскевича, опоясанным длинной каменной оградой того же цвета, как и башня. За нею виднелся обширный парк, внутри которого скрывался замок, длинный и правильный, во вкусе Растрелли, со средним корпусом и двумя флигелями, соединенными с ним галереями. На замке было две башни: посередине более низкая, а сбоку более высокая.

У меня было рекомендательное письмо к управляющему Паскевича, и я теперь подумывал воспользоваться им для переселения в какую-нибудь пустую комнату флигеля, если меня одолеет сырость моей гостиницы. Так и случилось. Возвратившись в номер, я почувствовал, что не уживусь в его жаркой, прелой и мучительной для меня атмосфере. Я всячески старался приспособиться к этой атмосфере – и не мог. Было жарко, а между тем я накидывал на себя теплый халат и сидел в калошах. Сидел и слушал, как за стеною какой-то молодой чудесный баритон заливался импровизированными песнями. Этот богатый голос пел как-то бессознательно, по привычке, – точно это было не пение, а курение папирос. Пение прерывалось звуком ложечки, ударившейся о стакан, – разговором с какой-то женщиной; затем наступала тишина и – вдруг опять – богатые, пленительные ноты! Я так и не узнал, кто были мои соседи; я бы, кажется, даже не хотел видеть их лица. Но, мучаясь в моем халате и галошах, я как-то радовался этой молодой, здоровой и ленивой силе, которая так просто, не зная себе цены, заявляла себя в этой неинтересной глуши.

Вечером я съездил к управляющему Паскевича, который весьма любезно предложил мне переселиться завтра же в один из флигелей замка.

На другой день, распорядившись отсылкою в замок моих вещей, я пошел в здание думы, где должно было открыться заседание. Возле красного двухэтажного дома с зеленой крышей собралась небольшая толпа. Лестница, большие сени верхнего этажа и несколько комнат были запружены вызванными свидетелями – свыше трехсот человек. Зал был огромный и, вследствие своей величины, казался низким, хотя на одной из его стен гнездились хоры в виде балкона. В глубине была эстрада и на ней подковообразный стол, покрытый красным сукном. Сзади большой портрет государя на красной драпировке, заграждающей вход в совещательную комнату. Тусклый туман висел в холодном воздухе этой голой казенной комнаты. Между решеткою и

эстрадою помещались столы и стулья для защитников и гражданских истцов. Тут же, в стороне защитников, сидела куча подсудимых, состоявшая из разных оборванцев, совершивших еврейский погром, и трех человек в длинных кафтанах, обвиняемых в подстрекательстве. Впереди всех выделялся шестидесятилетний старообрядец, купец Гладков, крепкий, черноволосый, с едва заметною сединою, румяный, с мясистым носом, резкими бровями и длинною мужицкою бородою. Я должен был обвинять его в самодурном упрямстве и в хитрых, честолюбивых происках, ради которых он устроил и раздул вражду между православными и евреями. Открылось заседание. Началась перекличка свидетелей, предварительный опрос, разделение их на группы по вероисповеданиям, присяга и т. д. Дело двинулось. На хорах стали появляться женщины.

К ночи я уже пошел не в гостиницу, а в замок… Сторож открыл мне чугунные ворота, и я направился по извилистой аллее, среди голых березок, к левому флигелю, где мне и обещали комнату. Витая лестница была освещена. Мое помещение было натоплено: в нем оказались три высоких комнаты: в первой я увидел великолепную копию Тициана «Просьбы Амура», во второй нашел письменный стол, в третьей была спальня. Кровать, белье – все было превосходное. Слуга, состоявший при флигеле, был, очевидно, обучен уходу за настоящими господами, потому что назвал мой сундук «кофром» (coffre). И я на целую неделю поселился в этом уголке дворца, где мне подавали чай в изящном сервизе, причем всегда обрезывали корочку на кружках лимона.

Потянулись дни процесса. В 12 ч. в совещательной комнате судей всегда подавался завтрак, состоявший из горячей кулебяки и соленых закусок. Туда же приглашались и адвокаты. Кулебяки были сочные и вкусные. В этот час солнце обдавало нас своим золотом сквозь голые казенные окна. Все шумели и жевали. Уездный предводитель дворянства (он же и судья, в мундире с красным воротником) оказался знающим меня еще лет восемь тому назад по одной моей защите в Могилеве. Он мне напомнил об этом знакомстве в задушевнейших выражениях, из которых я заключил, что его более всего поразило, как я постарел: «Вы тогда были красавец, совсем молодой человек!..» – и я чувствовал, что он с ужасом для себя сокрушается о пробежавшем времени, и я понимал, до какой степени я, вероятно, изменился. А солнце грело так молодо. И я, внутри себя, как будто видел себя таким же, как и прежде. Но с какою-то необъяснимою покорностью судьбе я соглашался с тем, что это уже не то…

Так я проводил время между залою думы и флигелем замка –

между заботами дела и отдыхом в чужом дворце.

Как-то, в праздничный день, когда заседание открылось позже, я вышел погулять вокруг замка и встретил управляющего. В домовой церкви Паскевича звонил колокол. На террасе, перед долиною Сожа, при свете яркого февральского утра, блестела великолепная громадная статуя Кановы – бронзовый Станислав-Август на бронзовом коне. Польский король был изображен в виде римского юноши, легко сидящего на коне, с величественно протянутою рукою. Великолепное, сильное животное гордилось своим седоком. Вокруг статуи, между дворцом и балюстрадою террасы, были раскинуты подернутые утренним морозом сухие цветники, составляющие летом чудесный ковер с целою сетью прихотливых тропинок. Управляющий обратил мое внимание на громадность парка и на электрические фонари, расставленные во всех его концах. «Летом здесь целое море цветов!..»

Мы пошли по прямой дорожке, которая вела от этих цветников к часовне над гробом фельдмаршала Паскевича. Эта часовня в русском стиле была настоящим ювелирным произведением – вся покрытая мозаикою, заказанною в Париже. По обеим сторонам часовни, на земле, возвышались маленькие отдушины из матовых стекол, – «чтобы в склепе был сухой и чистый воздух», – пояснил мне управляющий. – А как там внутри все богато! – Но я не пожелал спуститься туда.

Я торопился пользоваться временем, чтобы осмотреть дворец. Внутренность его оказалась до такой степени царскою, что все, мною виденное, даже как-то не совмещалось с жизнью частного лица. На каждом шагу – залы, как в Эрмитаже, переполненные грандиознейшими предметами искусства – картины, статуи, вазы, фонтаны, обои штофные, стеклярусные или из золоченой кожи и т. п. Кровать княгини, под балдахином, – нечто вроде восхитительного трона любви, созданного вдохновенным Булем не для людей, а для богов. От центрального корпуса замка к обоим флигелям шли галереи с зимними садами.

Старый князь со старою княгинею, бездетные, замкнутые, живут здесь! Культ фельдмаршала Паскевича виден во всем. В каждой комнате можно встретить картины из его карьеры, его трофеи, царские подарки и т. д. – И его кости благоговейно вентилируются в подвале парижско-византийской часовни…

Мне показалась удивительною и странною эта крепкая, почти безвестная и столь роскошная жизнь наших «остальных» вельмож.

И я возвратился к своему судебному делу.

Я вышел из дворца, по дорожкам парка, мимо голых березок, к чугунным воротам. За воротами широкая базарная площадь уездного города была оживлена праздничным съездом хохлов с

их телегами, сивыми шапками и разным деревенским товаром. Этот народ мне близок с детства; каждая свитка, каждый гусь нашептывали мне мои первые впечатления жизни; эти родные впечатления были теперь для меня и очень внятны, и в то же время совершенно недоступны, – как будто я проходил мимо самой дорогой могилы, из которой все равно ничего не услышишь.

Думский зал, по мере движения процесса к развязке, делался все более многолюдным. Толпа за барьером, отделяющим участников суда, становилась совершенно компактною. Я чувствовал себя скучающим и нервным; скучающим потому, что давно понял все это дело насквозь, а нервным потому, что предстояло состязание. Пропуская перед собою последних свидетелей, я почти ничего не заносил в свои заметки и, ради развлечения, оборачивался на публику. Там, в задних рядах, выделялась красивая брюнетка еврейского типа с чудесным цветом лица, – в ловком, модном платье из темно-зеленого сукна, с грациозным молодым бюстом. Она постоянно теребила черную сетчатую вуалетку, спущенную до половины лица, своими тонкими белыми пальцами. Рука у нее была длинная, изящная. Рядом с ней сидел цветущий офицерик, пожиравший ее глазами; но более авторитетным казался мне ее сосед с другой стороны, – тот самый еврей, который так любезно предложил мне свои услуги, чтобы устроить меня в «Континентале». Мне нравился этот отдаленный, незнакомый женский образ. Наши глаза начали невольно и часто встречаться; в этой незнакомке чувствовалась кокетливая варшавянка.

Начались прения. Мне пришлось говорить вечером, после краткой речи моего товарища, приехавшего из Киева. В зале было душно и от толпы, и от ламп. Но я как-то счастливо освоился с этой духотою и заговорил в ней полным, спокойным голосом.

Понемногу я почувствовал, что аудитория отдала мне свое единодушное внимание, и я высказал совершенно просто все, что думал. Но именно вследствие простоты – впечатление оказалось каким-то чрезвычайным. И когда после моей речи было закрыто заседание, то, проходя через толпу, я отовсюду слышал тот сдержанный говор одобрения, который сильнее всяких рукоплесканий. И тут же, на моем пути, еврей из «Континенталя» попросил у меня позволения «представить мне жену» – ту самую даму из публики, о которой я уже говорил. Я приветливо подал ей руку, взглянул прямо ей в глаза, казавшиеся увеличенными от жары и от видимого волнения сочувственной мне слушательницы. Она проговорила мне какую-то любезность, в ответ на которую я пробормотал что-то вежливое, – и протискался к выходу.

На другой день были реплики. Защитник того купца, которого я обвинял, усиленно рассчитывался с моею вчерашнею речью. Моя фамилия не сходила с его языка. Теперь я уже по-приятельски переглядывался с еврейкой во всех тех местах защитительной речи, которые меня вышучивали. Мы с нею одновременно улыбались. И я не чувствовал никакого желания возражать. В ответ на защиту я ограничился краткими замечаниями; я видел, что если судьи не намерены согласиться со мною, то уже никакие, самые эффектные полемические выходки не спасут дела. Мои обязанности были кончены. Я ждал перерыва, чтобы уйти к себе, уложить вещи к ночному поезду и ждать в стороне от суда известий о резолюции по этому длинному делу. Перерыв наступил около трех часов дня. Я был утомлен; солнце со всех сторон светило в окна. Вышедшая из залы толпа жужжала во всех комнатах думы. Я немножко побродил среди этой толпы и еще раз встретился с еврейкой. Вблизи, при сильном свете, она казалась несколько дурнее; ее национальный тип был слишком резок; нос был слишком крючковатый, но талия была прекрасна, и рука, поданная мне для пожатия, была нежна. Моя новая знакомая сперва пожалела, что я не возражал подробно и не отпарировал всех пущенных в меня стрел, но потом согласилась, что возражать значило бы только повторяться. Я сказал, что ухожу совсем. Ее улыбающиеся глаза и сильное пожатие руки выразили мне ее последнее сочувствие.

К вечеру, во флигеле замка, я получил известие, что дело мною проиграно. Что же делать! Я знал, что сделал все возможное. Уложив свои вещи, я прохаживался по своим трем комнатам. Ясный вечер с мягким морозцем замирал вокруг стен безмолвного дворца. Голые березки неподвижно возвышались за окнами, в серо-лиловом сумраке. В передней застучали сапоги моего временного лакея, который пришел зажигать лампы. Я еще походил и помечтал при лампах в течение двух часов. Я думал о прошумевшем деле, о моих безвестных знатных хозяевах, у которых я прожил в этих высоких комнатах целых десять дней, как у себя дома, – о дружной старости этих вельможных супругов, проводящих большую часть года в уединенной райской роскоши, – о костях фельдмаршала, зарытых вблизи моего флигеля…

Я лег пораньше, потому что поезд отходил в шесть часов утра. Разбуженный слугою, я торопливо оделся, накинул шинель, спустился по витой лестнице и нашел у своего подъезда солидную старую коляску с парою крупных лошадей от дворцового управления князя. В полупрозрачной темноте февральского утра я выехал по дорожкам парка к чугунным

воротам и затем прокатил к вокзалу через весь мертвый Гомель по его главной улице, мимо «Континенталя», где почивал сорокалетний еврей с своею молодою супругою.

В эту поездку я как будто особенно внятно слышал вокруг себя печальный голос улетающего времени, с его таинственным предостережением…

XXXVIII

Пасха – праздник бессмертия. Она всегда бывает весною, когда все замирающие оживают. Придуман чудесный символ возрождения за гробом: обмениваются пасхальными яйцами – этою, на вид, безучастною вещицею, в которой таится залог живого организма. Поется ликующая песнь о воскресшем Боге, который «смертию смерть попрал», т. е. – что самому Богу не оставалось иного оружия против смерти, как умереть: Он сам умер и лишь после того доказал, что смерть бессильна, потому что Он воскрес.

Единственный церковный обряд, который я исполняю ежегодно: пойти приложиться к плащанице. У меня навсегда осталась какая-то особенная нежность к умершему Богу: в этом я всегда чувствовал особую примиряющую черту между Богом и человеком. И я хожу к плащанице, конечно, только с этим теоретическим, или, если хотите, поэтическим парадоксом.

Я направился в Казанский собор. Был солнечный холодный день. Тротуары везде были сухи; снега уже нигде не было. Минутами солнце грело по-весеннему; воздух был уже редкий и легкий, с приятным запахом. Было три часа дня. Многие пешеходы сворачивали с Невского под колоннады собора. У самой двери собора я встретил выходившего оттуда министра Дурново: высокий, пухло-бледный, с темными бакенбардами, в драповом пальто без меха и в цилиндре, он вышел на улицу, как заурядный пешеход, решительно ничем не отмеченный. В церкви было светло и довольно людно. Вдоль всего собора растянулась длинная змея молящихся, имевшая три изгиба. Мы таким образом подвигались довольно быстро вперед. Но все-таки я должен был переступать от своего места до плащаницы около сорока минут. Я смотрел на эту разноклассную и разновозрастную цепь человеческих фигур; были тут и женщины, и молоденькие девушки, и богатые и бедные люди, и старики, и гимназисты, и даже – дети. Несомненно во всей этой толпе огромное большинство было вполне верующих. И вдруг мне пришло в голову, что все эти люди в последнюю минуту своей жизни будут обмануты… И мне стало больно за них! Бог был для них необходим; они Его любили и на Него надеялись; ради Него они делались чище и возвышались духом… И, право, в эти минуты они были достойны Его…

Солнце светило в широкие окна; в разных углах церкви происходила чистка и приготовление к пасхальной службе; в середине возвышался малиновый бархатный балдахин, – и все

казалось таким предустановленным, естественным и правдивым! Дождался и я своей очереди подняться на ступеньки катафалка. Взошел – и, увидев зеленовато-темного Спасителя, мертвого, изображенного лежащим в профиль в измученной позе, тощего, с выпяченными ребрами, – я торопливо поцеловал это изображение в серое ребро и удалился.

XXXIX

Муравьи и орлы – польза и величие, заботы о повседневных нуждах или мечтательные полеты в безлюдных высотах, откуда вся жизнь кажется муравейником… Никто не изобразит фигурки муравья на древке знамени, на высоком шпиле дворца или на щите государственного герба. Нет! во всех этих случаях нам нужен символ бесполезной птицы, почти не прикасающейся к земле, и мы никогда не вспомним о трудолюбивейшем и самом практическом из насекомых.

Да – как бы там ни было, – но мы всегда превозносим над собою великих мечтателей неизмеримо выше полезных деятелей. – В пантеоне истории и поэзии понемногу создается целый Олимп земных богов, возникших из нашего племени. Но и все эти кумиры – лишь одна мечта наша… Приглядитесь к этим кумирам и вы увидите, что все они были выдвинуты над толпою или случайностями жизни, или случайностями дарования, которое, по выражению Пушкина, весьма часто и совершенно слепо «осеняет главу гуляки праздного»… Припомню здесь и мой стих: «Как дар судьбы, великое случайно – и гения венчают не за труд».

Тогда приходит на ум, что все люди, в сущности своей, одинаковы. Тогда нас охватывает ужас при мысли об их безмерном количестве, – при мысли обо всех умерших, живых и будущих. И тогда каждый из неисчислимых миллиардов людей становится святынею. И надо всею жизнью человечества раздается страшный приговор Божий: «Или все бессмертны или – никто».

XL

У Теренция нашлось изречение, имевшее у нас громадный успех: «Я человек, и ничто человеческое не чуждо мне». Прекрасный, широкий и возвышенный афоризм! Но он мгновенно суживается и принижается до неузнаваемости, когда возьмешь его в такой редакции: «Я человек и все нечеловеческое чуждо мне». Действительно, мы совершенно ничтожны потому, что решительно все на свете приспособляем к нашей породе и вне этой нашей породы ровно ничего не понимаем. Мы не в состоянии даже построить дома, не подражая нашей наружности: мы ему делаем глаза (окна) и покрываем его как бы шапкою волос (куполы, кровли). Мифология облекает все силы природы непременно в человеческие образы. И протяжный фабричный гудок на рассвете, или дальний свист паровоза в тихие сумерки, или радостный звон колокола в светлое утро (т. е. механические звуки, исходящие от слепых сил материи) говорят нашему сердцу задумчиво, печально или торжественно только потому, что напоминают нам наш собственный голос, волнуемый различными движениями нашей души.

XLI

Казалось бы, практичнее всего – смотреть на жизнь как на вздор. Мой близкий друг Урусов как-то сказал: «Это большая ошибка, что жизнь считается чем-то важным. Нет! Нельзя так смотреть. Нельзя придавать жизни такого значения: тогда и жизнь будет легче». – Правда, и Лермонтов сказал: «Жизнь – пустая и глупая шутка». Но какая разница! Лермонтов это говорит с воплем отчаяния, тогда как Урусов – с непритворною и завидною беспечностью. И я знаю, что с его стороны это не фраза: таково уже свойство его веселой натуры[11].

Он мне часто приводил придуманное им определение смерти: «Смерть – это обморок, после которого наступает разложение тела»[12].

Как-то, когда я считал себя безнадежно больным, Урусов с участием спросил меня: «Неужели ты боишься смерти? Вечно сознавать себя – да ведь это невероятно утомительно! То ли дело, протянуться на чистом белье, вздохнуть – и баста!»

Как это ему рисуется! На чистом белье приятный вздох, и все кончено. А что будет предшествовать этому последнему вздоху? Я не малодушествую перед физическими страданиями, но я просто заживо умираю от нестерпимой обиды, когда вижу, что моя душа должна бесследно погибнуть. «Ничтожный для времен – я вечен для себя!», – как сказал Баратынский… Тут нет ни сомнения, ни честолюбия: тут прежде всего – остолбенение мысли перед неведомым кирпичом, который ее, бессмертную, убивает, как муху.

Но и то сказать: чем же муха – легкая, удивительная муха – не чудо природы?..

XLII

Фатализм всегда будет искушать нашу мысль… О каждом случайно погибшем человеке мы невольно думаем: «Ведь вот, если бы он не сел в эту лодку, не поехал с этим поездом, не пошел туда-то, не съел бы или не выпил того-то, – он был бы теперь жив!» И мы приходим к неизбежному заключению: «Видно, так ему было суждено». Возьмите, например: Генриха IV и Равальяка, Карно и Казерио, – кажется, будто эти лица были нарочно созданы друг для друга. И невозможно воздержаться от любопытных сопоставлений. Мне представляется Карно тридцати с небольшим лет, вероятно в то время едва только женатый, – в один из счастливейших дней своей жизни, – и затем появление на свет, в тот же день, в какой-нибудь деревушке возле Милана, Казерио. Что делал, как чувствовал себя Карно в ту секунду, когда родился его убийца – родилась его смерть? И далее: Казерио растет и приближается к пятнадцатилетнему возрасту. Где-то, в Версале, происходят выборы президента французской республики; Карно, взволнованный будущею властью и почетом, задумчивый и счастливый, сидит (как писали тогда в газетах), в отдалении от всех, у одного из окон дворца и прислушивается к последнему счету голосов, который неожиданно и явственно говорит ему, что он сделался главою государства. Громадная волна подхватила его безвестную жизнь на высоту, видную всему миру… Казерио ни о чем не знает; он не подозревает и того, что в эту самую минуту создалась для него гильотина… Затем обе эти жизни идут, чуждая одна другой, свободные, деятельные. Президент Карно погружен в государственные заботы; он занят приемами избранных людей со всех концов света; у себя в кабинете он соприкасается с судьбами всего мира, – на улицах он главенствует над океаном толпы, которая приветствует его как монарха. Он вырабатывает свой удивительный характер; он создает для себя технику репрезентации: его каменные рубахи, безукоризненный фрак, его ласковая манера снимать шляпу делаются общеизвестными. И вот теперь невольно кажется, что вся эта выдержка, все это величие, вся эта суета и педантическая работа – все это было призрачно и что, в сущности, все это вело к тому, чтобы Карно съездил 12 июня в Лион и был там заколот… Точно так же и Казерио: сколько бы мы ни фантазировали о другой возможной для него будущности, все-таки мы теперь никак не в состоянии отрешиться от мысли, что с самого дня рождения он не мог прийти ни к чему иному, как к тому, чтобы вскочить на подножку президентского ландо и всадить кинжал в

тщедушное тело безукоризненного и доброжелательного Карно.

XLIII

Года три назад умер дядя моей жены, старик Чаплин. Я тогда же говорил о его смерти (гл. XIII). Это было в самом конце мая и, помнится, после одной из вечерних панихид я вышел из квартиры покойного (во дворе дома Шереметьева на Литейной) с компанией его родственников. Мы оставили дядю в гробу, в комнате, затворенной со всех сторон, в панихидной декорации, с крышкою от гроба на табуретах, при мерцании трех церковных больших свечей и лампадки, среди тропических растений и завешанных зеркал, в обществе полусонного дьячка, который должен был остаться возле мертвого для чтения псалтыря. Выйдя на воздух, мы почувствовали всю прелесть летнего вечера и отправились к Филиппову за булками для чая. Компания наша состояла из семьи племянника покойного, Ермолая Чаплина. Здесь были: его жена, его братья и жена одного из этих братьев, только что вступившая в брак в начале той же весны. Дамы шли впереди. Я поотстал от них и разговаривал с Ермолаем об умершем, о его вдове, – судил и философствовал. Чувствовалось, что теперешнее прискорбное положение дяди торчало в каждой из наших голов, несмотря на нашу бодрую походку и резвые разговоры. «Скверно быть на месте дяди в такой вечер, – вот что наверное думал каждый. – И то же самое будет когда-нибудь с нами…» – верилось ли в это кому-нибудь из нас – не знаю.

Из булочной мы пошли к Ермолаю, в его квартиру в мраморном дворце княгини Юрьевской, во флигеле, в глубине двора. Флигель был двухэтажный и заднею своею стороною выходил в сад. Двери из столовой отворялись прямо на террасу, окруженную деревьями. Мы побродили по дорожкам, а затем вошли в дом и уселись за чайным столом. Разговор опять-таки невольно возвратился к дяде; вспоминали его привычки, его слова и манеры. Но обо всем этом говорилось без особенной грусти, даже с улыбкою, потому что человек уже был старый и его кончина представлялась вполне естественною. И однако же было что-то жуткое в этих назойливых воспоминаниях об умершем и как-то все еще не верилось, что его теперь нужно признать навсегда уничтоженным. И все присутствующие казались друг другу бессмертными.

Теперь, по истечение трех лет, из кружка людей, сидевших тогда за чайным столом, первою умерла сама хозяйка, жена Ермолая, которая в тот вечер казалась более других опечаленною кончиною старого Чаплина. Она умерла от глейкомии или «белокровия». Эта болезнь у нее началась через год после смерти

дяди; у нее стали пухнуть железы и затем, несмотря на всяческие заграничные консультации и на климатическое лечение в лучших уголках земли, болезнь кончилась «водянкою», т. е. безобразным вздутием живота и удушением.

Давно уже слышал я, что Анна Казимировна опасно больна, но так как она была все время на ногах, путешествовала и мало менялась в лице, то в близость ее смерти никому из профанов не верилось, тем более, что с больною случались удивительные перемены, и по временам она поправлялась неузнаваемо.

Это была миниатюрная женщина, брюнетка с прекрасным цветом лица, чудесными глазами и тонкой талией, с чисто польскою кокетливостию в туалете, щепетильно опрятная, очень сдержанная в манерах. У нее было двое деток: сын и дочь. Она была безупречною матерью и женою. Ее муж в последние годы быстро разбогател, стал усердно посещать балет и загородные сады, и ни для кого не было тайною, что он «путался» с хорошенькими женщинами петербургского полусвета. Жена с большим тактом перерабатывала в себе чувство ревности, и, в глазах знакомых, супружеская жизнь не выдавалась никакими неровностями.

Ермолай, цветущий, полный мужчина, немногими годами старше своей жены, – это особый тип жизнелюбца, интересный и сложный. О нем пришлось бы говорить слишком много. Я его видел недели за две до этой смерти. Его мучило это долгое умирание. Жена лежала в его квартире; дети, боготворившие мать, остались в деревне; больная большею частию дремала; он, полный здоровыми соками жизни, окрыляемый материальными успехами, – он не знал, как ему быть, что делать? Он сострадал и не мог дать ни малейшего облегчения.

О смерти Анны Казимировны я прочел в газетах. «Наконец!» – подумал я – и отправился на первую объявленную панихиду.

Я застал Ермолая в его маленьком кабинете за письменным столом. Он был поглощен какими-то спешными распоряжениями и дописывал своим твердым, крупным почерком третье или четвертое письмо. Дверь из той самой столовой, где мы когда-то пили чай, была открыта в сад. На низенькой террасе сидело несколько родственниц в трауре. Было тихо и душно; летнее солнце было едва задернуто ровною дымкою беловатых испарений. Темно-зеленые ветки лип виднелись из-за раскрытых дверей. Ждали священника. Покойница лежала наверху.

Я возвратился в кабинет, и тогда только Ермолай, заметив меня и окончив свои письма, сказал мне вполголоса, сдвинув брови на своем напряженном лбу: «Очень страдала! Чрезвычайно мучительно умирала!.. Цеплялась за жизнь!» И после этих слов

мне показалось, что теперешнее безмолвие, царившее в доме, было чем-то сравнительно благодетельным.

Поднявшись по внутренней полутемной лестнице наверх, все вошли в небольшую светлую гостиную с золотистыми обоями. В ней, от угла к углу, по диагонали, стоял белый гроб на катафалке; белый глазетовый покров живописно ниспадал на ступени; высокие свечи были перевязаны белыми кисейными бантами; все картины и вещи в комнате были окутаны белыми чехлами. У изголовья, в тропической зелени, стоял столик с образом и лампадкой, которая была заслонена маленьким четырехугольным транспарантом молочного цвета: очевидно, это был ночник – свидетель агонии.

Молодое женское лицо обрисовывалось своим красивым профилем на подушке гроба; издали оно казалось подернутым румянцем; над черными волосами, как сияние над византийским образом, выделялась белая газовая рюшь наскоро сшитого чепчика; брови чернели чистыми линиями под белым открытым лбом; веки с пушистыми ресницами были зажмурены с выражением какого-то усилия, как будто покойная к чему-то приглядывалась в минуту кончины; вытянувшийся нос загибался изящно-задумчивой линией над сомкнутыми губами.

Когда началась заунывная служба и я окинул взглядом присутствующих, то мне живо припомнилось, как на панихиде перед гробом дяди среди нас стояла вся в черном, со свечою в руке и в темной вуалетке эта самая Анна Казимировна… Странная смена фигурантов вокруг одного и того же необъяснимого несчастия.

Я стоял у двери, а за дверью стояла пожилая горничная умершей. Она сморкалась и всхлипывала; она, как и этот ночник перед иконою, – подробно знала все мучения умершей. Умилялась ли она от сознания, что все виденные ею мучения кончены, или надрывалась от воспоминания об них, – кто может это сказать? Кто заглядывал глубоко в смиренную душу нашей преданной и сердобольной прислуги?

Ермолай, твердый и сдержанный, с набрякшими жилами на висках, стоял крепко на своем месте и глядел своими серыми глазами прямо на бездыханное лицо своей жены. Эта маленькая фарфоровая женщина, вытянувшаяся, как во фронте, в ту беспрекословную позу, в которую все мы со временем вытянемся для того, чтобы превратиться в скелеты, – эта женщина отдала ему свою невинную красоту, родила от него двух детей, оберегала и любила их, как может любить только мать, – она была верною женою, она была центром его дома, – с нею были неразрывно связаны самые цветущие годы его жизни, изо дня в день, – и вот

она, ни в чем неповинная, лежит невозвратная и замученная… Она уже навсегда окончила свою недлинную и неблагодарную роль. И никто ее не заменит, потому что Ермолай во второй раз едва ли женится. Но во всяком случае, память ее неизгладима – в детях. И Ермолай понимает, что в старости эти дети будут для него самыми близкими существами в мире. И это подспорье в жизни оставила ему она, уйдя в могилу. Ее фотографии будут святынею; ее молчаливая тень, отступая от жизни, останется в глубине ее, как нечто манящее к себе. «Живи, мол, а я уже ушла; я была твоею – ты кути, пошаливай, а в сущности, и ты – мой. Помнишь? Наши лучшие годы – общие годы. Приди…»

Такого рода мысли несомненно возникали перед Ермолаем. Быть может, утомленный долгою болезнью жены, увлеченный в последние пять-шесть лет своими чувственными приключениями и связанный до настоящей минуты присутствием огорченной жены, быть может, Ермолай, сознавая свои здоровые силы, – рисовал себе, как сквозь туман, впереди сегодняшнего горя усладительные минуты полной свободы. Но теперь, слушая причитания дьякона над безмолвным телом своей подруги, Ермолай, конечно, переживал все надрывающие душу вопросы вечности и возводил свою жену на ту недосягаемую высоту, перед которою не знаешь, как и в чем выразить свое немое поклонение. И действительно, при возглашении «вечной памяти» крепкий и положительный Ермолай грузно опустился на колени и поклонился до земли – головою об пол. И когда служба кончилась, он взошел на ступеньки катафалка и теплым, почтительным поцелуем приник к холодному белому лбу своей жены.

Три дня стояла покойница в доме. На четвертый были похороны. Все было чрезвычайно изящно и в печальной процессии, и в самом погребении: белая колесница, модные факельщики, в виде парижских valets de pied[13], отпевание в Исидоровской церкви Александро-Невской Лавры и предание земле тут же, в церкви, – т. е. опускание белого гроба, покрытого венками, прямо в чистенький склеп, в четырехугольное отверстие, проделанное в полу, без всякой насыпи вокруг, без отвратительной работы лопат. Солнце светило в окна новенькой церкви; Ермолай стоял на первом месте, в новом фраке, с цепочкою орденов в петличке и с каким-то иностранным крестом на шее. И мне нравилась его сила. (Я бы на его месте – не то, чтобы подумать о фраке и орденах, но, кажется, не смог бы ни умыться, ни побриться).

XLIV

Флобер питал особенную нежность к наивности и глупости. Его любимцами были: Шарль Бовари, Бувар и Пекюше. У Шарля Бовари есть чудесное восклицание по поводу смерти его первой жены: «Elle était morte! Quel étonnement» («Она умерла! Как это удивительно!»). Да – как это глупо и как бессмертно! Все решительно, неудержимо и неустанно, до скончания века, при каждой новой кончине, переживают то же самое нелепое удивление. Оно никогда не исчезает совсем, но, нужно сказать, – у каждого значительно притупляется после многократных случаев утраты.

Я это испытал, узнав о скоропостижной смерти Евгения Утина. Это имя ровно ничего не скажет тем, кто не знал живого человека. Все, что было самого милого в нем, было вскормлено в его натуре большими благодеяниями судьбы. Он был чрезвычайно ласков, сердечен, отзывчив на все благородное, патетичен в вопросах общественных, нервно-впечатлителен к чужому горю – и все это делалось им вполне естественно, среди личной роскошной жизни, в его гостиной с бархатными коврами, с бронзой, фарфором и картинами, или где-нибудь в беседе с вами на улице, в его собственном экипаже на резиновых шинах. Когда-то Боровиковский удачно заметил, что, входя в кабинет Утина, как бы читаешь над этой комнатой вывеску: «Здесь живет либерал». Действительно: в глубине – портрет Герцена масляными красками в широкой золотой раме, на письменном столе бюстик Вольтера; по стенам гравюры: «Les girondins», «Les dernières victoires de la Terreur»[14], бронзовый горельеф, изображающий голову Гамбетты, литографированный портрет Белинского и т. д. Тысячи книг на полках занимают целых две стены; все последние издания и брошюры разбросаны по столам. И все вместе чрезвычайно богато: ковры, лампы, занавески, мебель, статуэтки, старинные вещи и т. п. Это был симпатичный образчик сибарита и радикала.

Ему повезло с юных лет. Едва окончив университет и проездившись по Европе, он уже мог печататься в самом известном тогда журнале («Вестнике Европы»), благодаря тому, что его сестра была замужем за Стасюлевичем. Фамилия его отца, разорившегося миллионера, – всегда звучала чем-то значительным в Петербурге. Вскоре, дуэль с Жоховым, нечаянное убийство, шумный процесс, в котором его защищал Спасович, покушение на его жизнь Гончаровой и самоубийство этой женщины после неудачного выстрела – сколько событий и

обстоятельств, бьющих по ушам публики, – делающих для нее готовое имя. А в то время адвокатура, в которую поступил Утин, давала возможность быстро разбогатеть всякому, кто сколько-нибудь всплывал на поверхность. И Утин, с первых шагов, сделал себе состояние. Знакомства в литературной, финансовой и судебной среде постоянно поддерживали его успехи. Он умел нравиться нужным людям. Впоследствии, когда он женился на прекрасной женщине и зажил семейным домом, он по-барски угощал банкиров, сенаторов, департаментских чиновников, писателей, ученых и своих товарищей. Все у него было изящно. Его семья (он всей душой любил жену и детей) производила отрадное, теплое впечатление. Приятно было сидеть в его креслах при мягком свете ламп, любуясь красивой обстановкой, перелистывая модную книгу, – чувствовать себя в благословенной атмосфере добродушия и довольства, в дружной семье, в присутствии его красивой, простой и благородной жены, – видеть его нежность при появлении нарядных детей, – все это, говорю я, было так приятно, что нельзя было не пожелать этому дому бесконечного продолжения его совместной светлой жизни.

Счастье Утина казалось мне предустановленным свыше и никогда не внушало мне зависти. Уверен, что так же относилось к нему большинство его приятелей, которые всегда готовы были содействовать его удачам. Ему как-то чрезвычайно шло иметь удобства и успехи. Когда он выигрывал крупные суммы в карты и близкие люди добродушно подтрунивали над его счастьем, он так же добродушно смеялся, как и они, – смеялся, как избалованный ребенок, предоставляя присутствующим любоваться его радостью. Он всегда морщился с каким-то недоумением, когда опасался проиграть дело, и с такою тревогою домогался благоприятного исхода, что становилось больно даже подумать о возможности для него поражения. Помню, как-то в Сенате он явился на защиту и с улыбающимися глазами сообщил мне, что прокурорский надзор будет давать заключение в его пользу. Я поздравил его заранее. Но в его добрых глазах было заметно волнение. «Да! – сказал он, продолжая улыбаться, – но вот еще вопрос: согласятся ли сенаторы с заключением!» Я расхохотался. «Позвольте, мой друг: но к чему же вы были бы нужны в этом деле, если бы заранее было известно, что оно ни в каком случае не может быть проиграно?!» – Тогда он стал громко и весело вторить моему смеху, но в его счастливых глазах все еще таилось внутреннее мучение. И всегда в жизни он так же нетерпимо, так же болезненно относился ко всяким возможным неблагосклонностям фортуны.

У него была слабость: он придавал огромное значение своей

личности и своей деятельности. Но кто в этом неповинен? Притом Утин имел все данные для такого заблуждения: благодаря своим связям, он был на равной ноге со всеми выдающимися людьми: начинающие писатели пользовались его покровительством, как по случаю «Вестника Европы», через который он пропустил многих поэтов и романистов, так и в виду его принадлежности к «Литературному фонду», куда он давно попал в Комитет. У него было много книг с весьма лестными авторскими надписями. Его всегда тянуло к умственной иерархии, а денежная иерархия всегда легко и просто сама давалась ему в руки. В адвокатской корпорации он точно так же искал почетной роли, и всем было известно, как он болезненно желал постоянно проходить в Совет. Я всегда подавал за него голос: мне было от души приятно сделать ему удовольствие. Но большинство сословия задорно сопротивлялось на выборах его честолюбивым намерениям и потому случалось всего два или три раза, что Утин попадал на год в Совет, а затем опять удалялся из него.

Итак: почетная роль в печати, давность когда-то прошумевшего имени, видное положение в адвокатуре, внимание и близость значительных людей и материальное баловство – все это давало Утину невольное право самоуверенно выделять себя из толпы. Но и в этой оценке самого себя он постоянно тревожился: после каждой своей речи или своей статьи он постоянно выжидал одобрения и, в конце концов, выспрашивал его сам. Я всегда отделывался успокоительным, сдержанным одобрением. Я не хотел бы здесь критиковать Утина. Я не был его поклонником, точно так же, как он совершенно открыто журил меня за бессодержательность моих литературных этюдов. Он это делал с покровительственною нежностию, и я никогда не спорил с ним, потому что знал, что в этом вопросе мы никогда не дотолкуемся до взаимного понимания. Он был всегда отечески строг к другим: он серьезно распекал Спасовича за многие его литературные работы. Все распекаемые обыкновенно выслушивали Утина, хотя бы и с внутреннею улыбкою, но всегда с симпатией к нему лично, потому что голос у него был добродушный, даже при строгих интонациях, и притом слушающий видел ясно, что Утин делает свое внушение *«любя»* и сожалея о заблуждениях автора.

Это был человек маленького роста, но крепкий и здоровый на вид, с темною бородкою и усами, отдающими в рыжий цвет, с правильным носом и блестящими воспаленными глазами в pince-nez, с выпуклым лысым лбом (напоминающим, по сравнению Урусова, лоб Шекспира) – приятный маленький человек, благообразный и прекрасно одетый, мягкий в обращении, добрый

и увлекающийся.

Он увлекался всегда очень горячо, запальчиво и прямолинейно: в этом была его особенная прелесть. Он увлекался неизменно в сторону всякого либерального протеста и – весьма часто в сторону какого-нибудь нового дарования, большею частию молодого, которому он покровительствовал, с которым он носился. То были: живописцы, музыканты, писатели, дебютирующие адвокаты. И он наслаждался своим патронатом над ними.

Когда он поднимался, чтобы произносить речь, он всегда делал трагическое лицо с таким видом, как будто приготовленное им слово должно было явиться карающим бичом для того невежества, с которым ему приходится состязаться. Но эта грозная тишина на его лице – когда вы начинали его слушать – обыкновенно разрешалась довольно-таки приевшимися общими местами, которые он любил декламировать с банальным пафосом, сохраняя при этом важное выражение скорби о недальновидности человечества. Я часто слышал его и мне каждый раз из любви к нему становилось неловко за него, но я закрывал глаза рукою, теребил себе кожу на лбу пальцами, вслушивался, успокаивался и затем уже оглядывал равнодушным взором скучающую, но сдержанную аудиторию. Мне довелось быть с ним на защите в провинции. «Так это Утин?!..» – спрашивали меня после его речи. Но я никогда на его счет не злословил и с озабоченным видом старался заговорить о чем-нибудь постороннем.

Страшно писать о безответном человеке, но я знаю, что выражаю здесь общий приговор ближайших друзей и доброжелателей Евгения Утина. Едва ли между ними найдется хотя один, который бы относился к нему без некоторой невольной иронии.

Но важно то, что все его любили, все чувствовали к нему нежность. Утин имел благородные увлечения – des passions nobles, как говорят французы. Он был добр и мил. У него был несколько прямолинейный и банальный, но несомненно и деятельный, и находчивый ум. Он был участлив – ко всем, на ком, большею частию справедливо, останавливались его симпатии. Он тревожился за своих друзей. «Мне не нравится здоровье Спасовича… Кони…» – говаривал он, и в его гримасе чувствовалась душевная боль за них. Когда его жена бывала опасно больна, он терял голову, ходил, как помешанный, и все поневоле делили его мучения. Мне случалось сидеть с ним в Совете присяжных поверенных, быть с ним в деловых поездках, проводить время на водах (в Карлсбаде) – и я пригляделся к

этому избалованному фортуною, выхоленному сибариту – и я понял его хорошую сердечность, его невольно притягивающую к себе добрую душу. Ему – повторяю – была очень к лицу эта избалованность и выхоленность. В Карлсбаде он всегда покупал себе розы на свой письменный стол, в Петербурге любил покупать картины на выставках, у него были самые буржуазные замашки, но когда он с вами говорил – у него слышались нежные, искренние ноты в душе. Вы знали, что он будет сострадать каждому вашему горю, и, в свою очередь, вы опасались возможности какого бы то ни было горя для этого человека.

Года полтора назад я ездил вместе с Утиным справляться о здоровье безнадежно больного Спасовича – и Утин был мрачен. В феврале этого года мы с ним же слушали в Сергиевском соборе заупокойную литургию над гробом Унковского. Румяный и цветущий Утин в своей бобровой шинели на атласной подкладке всего менее казался предназначенным для того, чтобы сойти в могилу вслед за Унковским. Наконец, в начале июня, Утин, собравшийся за границу к своей семье, подвез меня с одного вечера на своих каучуковых дрожках к моей квартире, и по дороге, при свете петербургской ночи, мы с ним разговорились о Герарде. Он высказывался о Герарде в том же участливом дружеском тоне, в котором всегда говорил о близких людях. Это наше свидание было последним.

Теперь я узнал, что Утин умер скоропостижно в своей деревне. И если его смерть была моментальная, то об Утине можно сказать: он счастливо жил и умер блаженно.

Говорю искренно: со смертью Утина – одною печью, неприметно согревавшею для меня громадную квартиру жизни, – стало меньше.

XLV

Летний сад! Я люблю это название – этот плеоназм, напоминающий пушкинское выражение: «старуха старая». Каждый сад, в сущности, летний, но из всех садов в мире только один называется «Летним садом». Он известен в литературе. В нем гулял маленький Онегин с своим гувернером. В нем Ольга назначала свидание Обломову. Для первого действия «Пиковой Дамы» Чайковского с него списана декорация. Это – громадный правильный четырехугольник, с пристриженною травою и широкими прямолинейными аллеями под высокими старыми деревьями. Черные стволы дают впечатление просторной колоннады, сквозь которую в обе стороны виднеется и Царицын Луг, и набережная Фонтанки. Мраморные мифологические статуи расставлены, как часовые, почти на равных промежутках, вдоль всех аллей. Все они изуродованы временем; многие носы отпали, многие руки приклеены; в завитках волос и в складках туник чернеет неистребимая грязь. Но присутствие этих божественных мертвецов среди вековых деревьев говорит о чем-то великом и печальном.

В семидесятых годах в Летнем саду каждый вечер играла военная музыка. В длинном павильоне, обращенном заднею стеною к Фонтанке, помещался ресторан Балашова. На площадке перед рестораном были расставлены столики. Кухня была прекрасная, и здесь любили обедать петербуржцы. Модное в то время и еще юное судебное ведомство особенно облюбовало этот уголок. Здесь же можно было видеть почти ежедневно за одним из столиков и старого писателя Гончарова. К позднему вечеру сюда съезжались кутилы, и тогда сад наполнялся камелиями. Но публики было особенно много в те часы, когда играла музыка, – от шести до девяти. Все жители соседних улиц приходили сюда потолкаться в разнообразной толпе, двигавшейся по небольшому квадрату, состоявшему из аллей, прилегавших к ресторану, вблизи которого играл оркестр.

Мы жили тогда на Гагаринской, и я часто приходил сюда с женою погулять после обеда. Как и все – мы попадали в толпу, двигавшуюся по тому же квадрату, т. е. от главной аллеи к ресторану, потом в сторону Невы, мимо оркестра, затем по соединительной аллее опять в главную и т. д. Мы шли под руку, проталкиваясь между плеч, и встречали бесчисленное множество лиц, которые затем почти безошибочно опять показывались перед нами на тех же самых пунктах. Говор, туалеты, физиономии, трубы музыкантов и вверху темные ветви древних лип.

В этой густой толчее мне как-то бросилась в глаза девочка лет пятнадцати, очень высокая и худенькая блондинка, с длинной заплетенной косой, падавшей поверх пальто, – в черной бархатной шляпке в виде тока, с косым белым перышком, узкоплечая и прямая, с удивительно тонкими чертами лица. Ее шейка молочного цвета была неизменно перевязана черной бархаткой с гладким золотым крестом. Ее серо-голубые глаза смотрели гордо и широко вокруг с насмешливым и спокойным вниманием, и каждый раз, когда мне встречался ее носик с нервными подвижными ноздрями, или когда на меня случайно падал ее взгляд, светлый и странный, – меня как будто что-то взмывало внутри. Мне поневоле хотелось почаще встречаться с ее глазами, но они казались недосягаемо-рассеянными, поглощенными в каждую новую минуту самыми неожиданными впечатлениями. Я только следил за ней и приглядывался к веснушкам на ее нежных щеках, и даже эти веснушки чрезвычайно к ней шли: они проводили по ее лицу случайные штрихи веселой иронии или привлекательной грусти, и в соединении с блеском ее серых глаз, как будто содействовали той необычайной власти, которую надо мною имело ее лицо. Я узнал ее имя. Она была дочь педагога, – богиня гимназистов.

После этого лета я потерял ее из виду.

Прошло три года. В юности такой срок представляется целою вечностью. Я слыхал, что она вышла замуж и уехала куда-то на юг. Иногда, в часы бессонницы, когда наши мысли в тоске перебирают все, на чем они могут остановиться, я невольно вспоминал это бледное, подвижное, необычайно милое женское лицо. Передо мною проплывала эта головка, и большие серые глаза, так красиво прорезанные, – заглядывали мне прямо в сердце.

Вдруг, однажды весною, на вербном базаре Гостиного двора, я ее увидел в толпе. Был светлый апрельский день с теплым порывистым ветром. Она совсем выросла (хотя и прежде была высокая). Ее черты вполне осмыслились и, однако же, сохранили ту же подмывающую прелесть выражения. Светло-серая вуаль откинулась назад, поверх ее низкой шляпки. Золотистые волосы мягкою волною прикрывали ее уши, и богатая коса, по-прежнему, по-девически, – ниспадала сзади на ее черную кофточку. Ветер обхватил ее юбку и открыл на несколько вершков от щиколотки ее тонкие ножки в шелковых чулках vert bouteille[15]. Она засмеялась чисто по-женски своими зрелыми опытными глазами и, кажется, взглянула на меня.

И затем я никогда более ее не видел.

И вот теперь, спустя двадцать с лишком лет, я вдруг прочел

объявление о смерти одной дамы, о которой было напечатано жирным шрифтом «урожденная такая-то» (ее имя и фамилия). Как? Она жила здесь, и я ее не встречал? Она умерла? Адрес был означен в объявлении. Я испытывал искушение пойти взглянуть на это вечно неуловимое – теперь остывшее лицо. И мне было неловко, потому что я не был знаком с покойницей. И я не пошел… Хотя в самый час ее погребения еще упрекал себя!

Но в следующие дни я навел справки. Мне доставили даже фотографию умершей: это была совсем другая женщина и притом еще совсем молодая, да и вся ее биография не подходила к моей героине.

Я этим не удовольствовался. Я обратился к одному молодому человеку, который мог самым достоверным образом проследить дальнейшую карьеру моей подлинной незнакомки. Он узнал, что она еще жива и проживает в каком-то уездном городе Псковской губернии с своим вторым мужем, из незначительных военных. Ее давнишняя фотографическая карточка, которую мне удалось добыть, была совсем выцветшая, бурая и тусклая. Дама была снята без шляпки; лицо совершенно мне чуждое; прическа совсем другая; нос пухлый; глаза, как щелки; выражение глупое, ничтожное… Нет, это – кто угодно, только не она…

Где же она?

XLVI

Невольно слежу за тем, что происходит у всех на виду: за событиями в царской семье.

Весною этого года огласились два события: помолвка наследника и свадьба Ксении. Во всех магазинах появились фотографии будущей государыни: прохожие приближались к витринам и обсуждали эту девушку, как собственную невесту. Все видели, что это девушка с величественным ростом, тонкая и грациозная, с правильными линиями породистого лица, с глубокими зоркими глазами и печальною складкою вокруг губ. Иные не одобряли этот грустный отпечаток на лице, которое на долгие годы будет первенствующим женским лицом в наших впечатлениях. Но все готовились к этому будущему и старались привыкнуть к новому образу, призванному всплывать над Россиею, во всех ее углах, в бесчисленных общеизвестных изображениях. Ведь это все равно, как если бы нам объявили, что на целый ряд предстоящих годов мы будем иметь такую-то, а не иную погоду, такой-то, а не иной цвет неба, потому что лицо государя или государыни насильственно завладевает нашими впечатлениями на длинные периоды нашей собственной жизни и витает над нами наверху, как если бы оно было выткано над нами на воздушном плафоне, осеняющем наши дни. «Так вот какую женскую фигуру мы будем величать в царской чете в течение всего последующего царствования!.. Вот она, чьи портреты и бюсты размножатся по всей России, – чей вензель будет гореть на иллюминациях рядом с вензелем императора, – чье тело призывается для продления династии…»

И вместе с тем все знали о связи наследника с балериною Кшесинскою. Все судили на эту тему, невольно ставя себя на место жениха и переживая чувства невесты. Помолвка объявлена. Наследник сделался женихом в Кобурге. Оттуда немедленно были высланы фотографии обрученных – порознь и вместе. Ничего нельзя было прочесть на этих лицах…

Этим летом государь выдал замуж свою любимую дочь Ксению. Свадьба была отпразднована в Петергофе со всевозможным великолепием. Новобрачные, прямо со свадебного пира, поехали в уютный Ропшинский дворец вблизи Петергофа и по дороге вывалились из экипажа: лошади, испуганные попутными факелами и огнями смоляных бочек, понесли. Жених и невеста едва спаслись и порядочно-таки разбились. Но я видел их три дня спустя, когда они приезжали в Петербург для принятия поздравлений. День был солнечный, веселый; на домах

– цветные флаги и драпировки; по тротуарам Невского и на Казанской площади целое море пестрых голов громадной толпы. Я проезжал в третьем часу дня по Б. Морской, обогнув эту наполнявшую все главные улицы толпу, не знавшую хорошенько, где именно можно лучше увидеть героев праздника. И вот, на Б. Морской, почти свободной от народа, я увидел коляску, в которой мчались новобрачные к Петергофской пароходной пристани. Александр Михайлович, в морской форме, молодой красивый брюнет, – заглядывал вперед, на лошадей; Ксения Александровна, в светло-желтой накидке с розовым страусовым перышком на легкой дамской шляпе, сидела спокойная и довольная, и была удивительно похожа на государыню: худенькая, темноглазая, с кудрями, взбитыми на лбу, со вздернутым носиком – точь-в-точь государыня, но только с тою разницею, что нос и рот были у нее похуже, да глаза только издали напоминали материнские, но не имели ни их блеска, ни привлекательных очертаний.

Царь, как было слышно, чрезвычайно радовался этому событию в своей семье. Предыдущею зимою он перенес сильную инфлюэнцу, но на свадьбе держал себя молодцом. Однако же, ходила молва с начала лета, что у него подозревают какую-то серьезную болезнь, что он имеет дурной вид и т. д. После свадьбы Ксении слухи эти усилились. Затем – вдруг маневры, на которых он должен был присутствовать, были отменены; в газетах упоминалось о приезде ко двору профессора Захарьина (который лечил его от инфлуэнцы) и даже о появлении во дворце отца Иоанна Кронштадтского, который имеет теперь славу религиозного целителя, призываемого в самых безнадежных случаях. Государя повезли в Беловежскую Пущу. Но Пуща, по-видимому, не помогла. Поехали в Спалу, но и там здоровье не поправилось. Понадобилась поездка в Крым. Во всем этом было нечто зловещее: в богатырском организме, очевидно, завелась какая-то неодолимая порча. И все-таки думалось, что это затянется. Но затем в газетах был объявлен «нефрит», а теперь – в октябре – из Ливадии посыпались телеграммы: «Болезнь почек не улучшилась; силы уменьшились», – через два дня: «Состояние здоровья ухудшилось; общая слабость сердца увеличилась», – и последняя депеша: «Перемены нет». Что же? Значит – конец…

Все это царствование (тринадцать лет истории) мелькает передо мною, как один год. Начиная с той минуты, когда я видел 1 марта 1881 года на Невском Александра III, возвращавшегося в карете с своею женою, под конвоем казаков, из Зимнего дворца, после кончины его отца – и до настоящего времени – весь этот период так быстро проносится в моих глазах!

При вступлении на престол Александра III в России было полнейшее смущение. Все ожидали дальнейших кровавых событий. Новый государь, как всегда у нас, – представлялся загадкою.

Он укрылся в Гатчину. Летом он поселился в Петергофе, оцепленном конвойцами. Но вместе с тем он отпустил либерального Лорис-Меликова, сблизился с Победоносцевым и объявил в особом манифесте свои религиозно-монархические принципы. Сразу повеяло солидной реакцией. И эта система благополучно продолжалась за все время его царствования.

Он был молчалив, честен и тверд. Его любимым аргументом во всех случаях был – «закон». Жил он тихо, по-семейному, всегда неразлучный с женою, – держался просто, носил какой-то приплюснутый картуз на своей крупной голове, – улыбался своими чистыми, добрыми глазами, – много работал над государственными бумагами, – писал свои резолюции четким, красивым почерком, – и понемногу заставил уважать и любить себя именно за свою приверженность к миру и за свою преданность скромному долгу и ясному закону.

Теперь он умирает. Мне вспоминается его тучная, мешковатая фигура на многих погребальных процессиях, случавшихся в царской семье за время его правления. Он всегда шел за гробом впереди всех, сосредоточенный, спокойный, массивный и простой. Мне вспоминается он в санях или в коляске, всегда рядом с женою, которая неизменно куталась в малиновую бархатную ротонду с черными соболями, прижавшись к его могучей фигуре в сером военном пальто. Эти супруги положительно казались «инсепараблями».

Быстро пронеслось и перед ним самим его царствование! К своей жизни, к своему здоровью он относился беспечно. Его природная сила оберегала его от мнительности. Говорят, что и теперь, исхудалый до неузнаваемости, он приводил в отчаяние докторов своею безумною неосторожностью. В Беловежской Пуще, вспотелый после ходьбы, он садился у открытого окна в сырую погоду, и на замечание Захарьина: «Кто вам это позволил?» – отвечал, шутя, что он это делает «с высочайшего разрешения».

Я видел в «Иллюстрации» картину переезда государя по тихому морю в Ливадию – к этому последнему пристанищу: громадный пароход, яркий южный пейзаж, недвижная вода – и он с женою на палубе, в созерцании этой примиряющей природы. Он так исхудал и ослабел, что его поддерживали посторонние при вступлении на южный берег Крыма.

В Петербурге началась суровая ранняя осень. И вот, например, сегодня здесь холодный, но яркий безоблачный день, а

в Ливадии теперь, конечно, – бирюзовое небо и радость, и красота в природе. А государю надо готовиться в «мертвецы»… Государыня, как слышно, потрясена до того, что почти не выходит из состояния столбняка. Повседневное в нашем мире и неодолимое семейное горе царствует там так же уродливо и мучительно, как в самой бедной квартире. С таким же холодом на сердце прислушивается государыня к приговорам врачей: так же безутешно смотрит на неузнаваемые и непоправимые черты своего мужа; с таким же робким недоумением встречает в окнах дворца нарядные группы деревьев под ласковым небом и радостным солнцем; так же боится этой радости, как самый последний из страждущих; и так же тупо глядит на изящный электрический фонарь, ежедневно выступающий перед нею на границе газона, – как если бы этот элегантный фонарь был не игрушкою роскоши, а бессменно торчащим перед нею вестником смертной казни… Все помутилось теперь в ее душе, и вся истинная жизнь этой души умирает теперь вместе с телом ее мужа.

Благодаря высоте престола, всем теперь кажется, что эта интимная трагедия охватила весь мир. Заурядные граждане, самые обыкновенные дамы сострадают этому несчастию всем своим сердцем.

Бюллетени говорят о важности события и о возможной близости катастрофы. Все понимают, что правитель с такою глубокою болезнью уж не пригоден. Меня всегда коробило от такого механического взгляда на людей, отмеченных непоправимым недугом, и гаже всего то, что в таких суждениях всегда слышится как бы укоризна умирающему, вроде той, с которою относились все знакомые и сослуживцы к умирающему Ивану Ильичу, т. е. как будто Иван Ильич сам в чем-то провинился, чего-то не сумел сделать, оплошал и теперь остается в дураках.

Все члены семьи съехались в Ливадию. Сам больной, конечно, понимает зловещее значение этого съезда. Их приезд как бы обязывает государя поскорее прекратить томительное ожидание, потому что – если болезнь затянется, – то ради чего же все эти родственники будут жить в тесноте, в бездействии и в непривычных условиях?

А государю выпало на долю умирать медленно – одно из худших наказаний судьбы.

И пока длится эта агония, передо мною невольно встают громадные портреты предшественников Александра III – самодовольные величественные фигуры, опирающиеся на бархатные столы, повсюду, однако, уже отодвинутые на задний

план. И мне кажется, будто эти самодержавные призраки теперь шепчутся между собою: «Он уже наш… он скоро будет в могиле Петропавловского собора под замком, ключ от которого почтительно спрячет министр двора…» И я уже вижу улыбающиеся портреты плечистого Александра III в тени истории – в тех самых государственных залах, где на главном месте скоро будет красоваться новый кумир.

9 октября, на этих словах приостановилась моя рукопись. В течение недели с лишком получались из Ливадии депеши как бы обнадеживающие. Нужно быть в положении живого свидетеля, не имеющего возможности предвидеть, что случится на следующий день, – чтобы понять, какой интерес, какое волнение возбуждали эти депеши. Они приходили по два раза в день: первый бюллетень получался в четвертом часу дня, второй – около одиннадцати часов вечера. Днем, на Невском, вблизи Гостиного двора, франтоватые, цветущие здоровьем околоточные надзиратели появлялись с толстою пачкою свежих листков и молча раздавали их толпе. На каждом листке было напечатано: *«бесплатно»*. Кроме того, на видных местах, на зданиях и заборах, приклеивались особо длинные листы, с орлом в заголовке и с теми же бюллетенями, воспроизведенными громадным шрифтом. Каждый бюллетень начинался словами «государь император» – этими великими в России словами, обозначающими не лицо, не фамилию, а власть – нечто, неизмеримо превышающее обыденного человека. Все изменения в состоянии здоровья объявлялись в кратких, осторожных и глубоко почтительных выражениях. Казалось, что болезнь как будто уступает, и во всяком случае затягивается.

И странные чувства возбуждались этими якобы отрадными известиями. Было ясно, что полное восстановление государя невозможно. При таких условиях затяжка, возможность регентства – все это казалось какою-то странною помехою к дальнейшему развитию истории. Дрянные личные интересы, невольное любопытство к новым событиям, уже готовым выступить на сцену, – все это мешало искренне радоваться улучшению в состоянии умирающего. Дня три-четыре подряд публиковались такие известия, что нельзя было даже догадаться, в чем же заключается опасность, когда государь и спит, и ест, и встает, и даже чувствует себя хорошо? И ради чего тогда эти две неизменные депеши в день? Должно быть, все-таки ему скверно… И, кажется, никто бы изо всех этих прохожих, видящих перед собою царские дворцы, не променял теперь своей скромной доли, своего здоровья – на все решительно блага, принадлежащие герою всех этих религиозно-умилительных депеш…

А может быть, он уцелеет и воспрянет, как некогда Иоанн Грозный после смертельного недуга… Пока в нем есть дыхание, он – власть, покрывающая собою все в России. Пока он еще говорит, – его слова равны закону, который все может перевернуть в одно мгновение. Пока его пальцы еще могут водить пером, он может подписать нечто невероятное и однако же для всех обязательное. Поэтому его царствование еще продолжается во всей силе… Это сознают и доктора, которые не могут предвидеть, сколько именно таких дней, дающих возможность осмысленных распоряжений, еще выпадет на его долю. И никто из нас тем более не может этого предвидеть.

И вот, после трех дней ободряющих известий, – вдруг – лаконическая утренняя депеша: «Почивал мало. Аппетит есть. Отеки ног несколько увеличились». А затем, вечером того же дня, неожиданная телеграмма о совершенно новом явлении – о кашле с кровью, а на следующий день к ночи – о воспалительном состоянии левого легкого (в скобках «инфаркт», что было почти всеми прочтено «инфракт») – и в первый раз роковые слова: «Положение опасное». В следующие сутки кровохарканье уменьшилось, но слабость увеличилась. Наконец, в последний день было получено четыре депеши.

Каждая из этих депеш составляла событие. Первую из них мне подала, на измятом листке, молоденькая бонна моего сына, немочка Матильда. Она возвратилась в третьем часу дня из города с моим мальчиком, которого она водила гулять, и, вынимая листок из кармана, тихим голосом сказала: «Посмотрите, какая *ужаснейшая* (чисто немецкий оборот) – депеша…» Я пробежал известие:

«Ливадия, 20-го октября, 9 час. утра.
Ночь государь император провел без сна.
Дыхание *сильно* затруднено. Деятельность сердца *быстро* слабеет. Положение *крайне* опасно.
Профессор Лейден.
Профессор Захарьин.
Лейб-хирург Гирш.
Доктор Попов.
Почетный лейб-хирург Вельяминов».

Действительно – в каждой фразе была подчеркнута близость смерти. К обеду жена и дочь, бывшие также в городе, принесли сведения еще об одной депеше, – еще более краткой и уже совершенно безутешной. Значит, сегодня смерть… и все-таки не верится. После обеда я поехал в клуб, около шести часов вечера. Швейцар вполголоса спросил меня: «Вы не знаете? Государь

император скончался. Сейчас приезжал сюда курьер из Кабинета его величества за одним нашим членом, потому что уже получена депеша…» Поднявшись наверх, я увидел под витриной, где выставлялись телеграммы, вторую и третью депешу:

> *«Ливадия, 20-го октября, 11 ч. 30 м. утра.*
> Деятельность сердца продолжает падать. Одышка увеличивается. Сознание полное».
>
> «Телеграмма министра Императорского двора
> *Ливадия, 20-го октября.*
>
> В 10 часов утра государь император сподобился приобщиться св. Христовых тайн. Его величество в полном сознании.
>
> *Граф Воронцов-Дашков».*

В клубе уже все знали о смерти, но только на словах. Не прошло и четверти часа, как в бильярдную вошел неизвестный мне член собрания, стриженный, с бородкою, молодой, и молча бросил на сукно бильярда, озаренное электрическими лампами, траурный листок и сказал: «Вот». На листке была набрана в типографии «Правительственного вестника» последняя депеша, еще не корректированная: в ней были пропущены слова «в Бозе», они были кем-то надписаны сверху печатного текста.

Телеграмма, полученная министром внутренних дел 6 т министра Императорского двора, из Ливадии, 20-го сего октября:

> «Государь император Александр III в 2 ч. 15 м. пополудни сего 20-го октября тихо в Бозе почил.
>
> *Министр Императорского двора граф Воронцов-Дашков».*

Эта депеша отличалась от всех предыдущих не только траурной каемкой, но и упоминанием об «Александре III», тогда как во всех предыдущих известиях говорилось безлично «Государь император».

В долгой болезни и в ожидаемой смерти каждого царя есть что-то совсем непохожее на умирание человека из народа. Будь это даже величайший гений, – кончина частного лица бесповоротно завершает его путь и ничего более. А здесь при своем последнем издыхании мертвец воскресает в новом виде. В

такой смерти ощущение новой жизни всегда бывает сильнее самой утраты. И тем более пьянеет и экзальтируется толпа, – тем сильнее и глубже захватывается ее воображение. Все испытывают какое-то кровавое любопытство, оплачиваемое страданиями почившего, – и тем более сочувствие к нему невольно шевелится в каждом сердце. Тогда необъятная всенародная печаль заслоняет всю страну, подобно тени громадного облака, несущегося по небу. Тогда все государство как бы обращается в частный дом, в котором ждут кончины: будь это даже нелюбимый и тяжелый человек – все-таки всем не по себе, все испытывают невольную меланхолию. И вот почему тяготение над нашею жизнью ожидавшейся смерти царя держало в своих сумерках все наши помышления за эти последние три недели.

Итак, громадная власть – исчезла! Что-то смутное, неопределенное как бы носилось в эти минуты над Россией. Все знали, что есть заместитель, но вот эти именно минуты казались чем-то колебательным и тревожным. Разговаривали о том, как должно оформиться в завтрашний день новое царствование. Как опубликуется манифест по телеграфу, без получения Сенатом подлинной подписи нового государя?

А между тем новые чиновники прибывали в клуб. Они приезжали в вицмундирах и говорили, что они уже присутствовали на первой панихиде, отслуженной в Государственном совете. Приносились известия о том, как на этой панихиде разные министры себя держали. Пропускаю эти неинтересные мелочи. Завтра – вступление на престол… А у меня заседание в суде: состоится ли заседание?

Холодное дождливое пасмурное утро 21 октября.

Много езды по улицам. Прихожу в суд с тем же неопределенным, любопытным и, в сущности, бездеятельным чувством, которым проникнуты все на вид суетливые, а в глубине – пассивные, выжидающие обстоятельств жители Петербурга – того Петербурга, в котором сосредоточен главный механизм правления. Конечно, заседание по моему делу не состоится, потому что всякая второстепенная власть и все граждане должны в этот день спасать общественный порядок, – нужно спокойно и твердо присягать новому государю. Манифест, о котором так канцелярски спорили вчера, уже напечатан без всяких вопросов о подлинности подписи в «Правительственном вестнике». Значит, вступление на престол совершилось. При хмуром утреннем свете читаю круглый крупный шрифт этого великого акта, занимающего весь первый лист большой официальной газеты. От каждого слова чего-то ждешь, точно приподымается завеса будущего… И в то же время знаешь, что это слова потрясенного

видом смерти молодого сына, только вчера осиротевшего в Ливадии: это крылатое письмо с места несчастия – и в то же время всесильная программа нового порядка. Прочитал… Ничего… Мудрая и ответственная бумага составлена трогательно и благородно: она дышит чувством и ничем не угрожает. Вверху прописано величаво: «Мы, Николай *Вторый.* В тексте, за которым я слежу с невольным напряжением (как если бы я слушал речь самой судьбы в большую трубу), я сразу приметил неправильный грамматический оборот: „где бы ни пролились горячие слезы по *государю,* безвременно *отошедшему* в вечность…“» Нужно было сказать «по государе». Досадно, что воплотитель русского народа в первой своей бумаге погрешил против нашего чудесного языка. Но это, конечно, промах составителя: подписавший слишком был взволнован и никому не придет в голову укорять его.

А серое утро все так же проникнуто ощущением интересной тревоги и какой-то обязательной парадности. В коридорах суда мелькают мундиры. В два часа будет судейская присяга.

Между тем известно, что в самые ранние часы того же утра уже собрался Сенат и Синод в чрезвычайное заседание, бывающее только один раз в каждое царствование. Там столько властей в своих торжественнейших облачениях, что им едва хватает места. И все эти пожилые сановники – митрополиты, архиереи, сенаторы, обер-прокуроры, с министром юстиции в центре, – все они, несмотря на печальность события, испытывают непривычно молодецкий холодок; они чувствуют приятную сценичность своих костюмов; они поддаются обаянию своего мнимого величия; они делают историю!.. И этот ранний час, когда все они, будучи вельможами, так прытко и готовно соединились среди потемок петербургского тумана, – этот ранний час, в сущности, так же сладок их старому сердцу, как сладко бывает для юноши свидание на рассвете.

Тусклый день прошел. Много шумело колес на улицах до самой поздней ночи, но в общем – настроение было миролюбивое и тихое. Все главные управления уже присягнули. Какие-то вести придут завтра из Ливадии!

В утренних газетах появились депеши из Ливадии о том, что вчера «на площадке перед церковью Малого дворца присягнула новому государю вся царская фамилия». В двадцать четыре часа от мала до велика, все, что главенствует и покоряется, – все, из чего скована громадная цепь государственного порядка, – все это уже успело связать себя клятвою своей чести с новым властителем. Да! Это действительно скорый, простой и бесповоротный suffrage universel[16].

А ведь теперь там, в Ливадии – покойник. Его теплая жизнь

еще у всех свежа в памяти. Как он встретил смерть? Он умирал в полном сознании, окруженный столпившейся семьей. Он принимал причастие в самый день кончины, – после трех суток кровохарканья – значит, он ясно видел, что все это делается в виду его кончины. Что же? Боялся он? Тяготился он этою красноречивою обстановкою смертной казни? Нисколько. Он выдержал агонию, сидя в кресле. Он так простодушно верил в будущую жизнь, что после причастия, задыхаясь, молился шепотом в присутствии отца Иоанна (Кронштадтского) и сказал жене, сидевшей близ него на скамеечке: «Чувствую конец. Будь покойна. Я совершенно спокоен». И вдруг, откинувшись назад, умер. Накануне смерти, когда мы здесь читали депеши о его «крайне опасном состоянии», когда мы себе воображали его неподвижно хрипящим в постели, – он (как это доказано документами) еще садился к столу и подписывал бумаги. Он совсем не заглядывал в будущее: он не придавал никакого значения своему умиранию и, преисполненный самых отвратительных ощущений глубокого физического страдания, чувствуя свою неодолимую непригодность к работе, – он все-таки, видя кругом отчаяние, еще хотел по обычаю трудиться. Впоследствии Лейден, возвратившись в Берлин, всем рассказывал, что Александр III смело смотрел смерти в глаза и умер настоящим героем, «как следует мужчине».

И вот затих, отдал свой дух и превратился в труп этот человек.

Нам, живущим на севере, рисуется далекая Ливадия. Там все растроганы и растеряны. Знаменитый больной, взбудороживший за эти последние три недели весь мир, крепился, сколько мог, в своих маленьких комнатах, и наконец «опростал свой угол» совершенно спокойно, как русский мужик, а этот угол – шутка ли сказать? – шестая часть земного шара!

Конечно, теперь этого покойника ожидают величайшие почести. Но едва ли он об них думал!

Он, кажется, вовсе не находил счастия в величии. И что ему из того, что его прах будет священным, что его холодеющую перед кончиною руку впоследствии будет целовать вся Россия! Другой, мелкий, безвестный человек, быть может, находил бы в таких мыслях настоящее упоение. Но именно ему, простому по своей природе, мешковатому по своей фигуре человеку – такие театральные мечты не могли принести ни малейшей услады.

И однако же сверхчеловеческое, религиозное, охватывающее всю землю поклонение несомненно совершится вокруг этого умершего. Мертвое тело царя вызовет необходимость множества великолепных церемоний, которые, благодаря остановкам гроба в

губернских городах, пройдут через всю Россию и затем разрастутся в небывалые сценические проявления печали, когда покойник прибудет в стены Москвы и наконец достигнет до Петербурга.

Издалека и понемногу ко встрече тела приготовлялась и наша столица. Начали появляться траурные флаги поочередно на каждом доме без исключения, вплоть до самых глухих переулков. Потом стали убираться черными материями подъезды более крупных домов. Большинство вывесок задернулось крепом. Но на Невском и вообще по пути следования ожидаемой процессии увлечение трауром возрастало неудержимо: подъезды превращались в катафалки, на карнизах домов и на балконах делались драпировки из черной и белой материй с фестонами. Горностай изображался то белыми язычками на черном, то черными – на белом. С высоких зданий повисли длинные флаги из черной тафты – самый красивый вид убранства. На перекрестках воздвигались высокие деревянные обелиски, перевитые ельником, с урнами на вершине, и окрашивались черною краскою. Флигель Аничкова дворца заделал черным крепом сплошь все свои стены. Кое-где ставились высокие жерди с треугольными знаменами из черного сукна. Возле Сената строились дощатые ворота, которые также нужно было почернить и драпировать в одну ночь. Тут же приготовлялись деревянные колонны с вазами наверху, обозначавшие, как версты, дорогу шествия. Их тоже нужно было выкрасить к завтрашнему утру. Плотники, обойщики и красильщики молча копошились целые сутки вокруг этих декораций. Неприглядная чернота понемногу заволакивала все постройки. Казалось, что ремесло гробовщика сделалось единственным занятием всего Петербурга. За два дня до прибытия к нам гроба были отправлены в Москву императорские регалии. Их вывезли из Зимнего дворца по особому церемониалу, в золотых каретах, на вокзал Николаевской железной дороги. Около трех часов дня я видел этот золотой поезд. Пять золотых карет следовали по Невскому, как процессия из какой-то богатой феерии. Обильный снег, мокрый и косой, как бы назло вышучивал это зрелище. Впереди и позади карет скакали кавалергарды в медных латах и касках, а посредине поезда ехали открытые золотые колесницы древнеримского фасона с двумя гофмаршалами в каждой. Гофмаршалы сидели в треуголках и мундирах, без пальто, и держали высокие жезлы с орлами. В одной из карет я заметил старого генерал-адъютанта в белой меховой шапке, в мундире и кашне, с глазетовой подушкой на руках.

Вот какими впечатлениями было подготовлено вступление

тела в Петербург. А тут еще Москва, как раз накануне здешней церемонии, будет соперничать с Петербургом в обожании останков монарха. Было слышно, что траурные декорации Москвы, без всякого сравнения, превосходят петербургские. Трудно было даже определить день въезда, потому что в Москве тело могло задержаться. Приезжавшие сюда москвичи говорили: «Да вы не знаете Москвы! Его – т. е. умершего государя – оттуда не выпустят!»

Но так или иначе, все действующие лица ливадийской трагедии – убитая страданием вдова, воцарившийся молодой сын умершего, привезенная наскоро из-за границы его невеста, все опечаленные родственники, – все это подвигалось к нам. Но центром общего внимания был все-таки гроб. В нем был источник повышенного, мистического возбуждения массы. Осиротевшая вдова, плачущий молодой государь с невестою были, конечно, симпатичными героями трагедии, но породил всю эту трагедию все-таки покойник. И толпа, неприметно для себя, упивалась этим горем, развертывавшимся перед нею на исторической сцене.

А пострадавшие? А те, которые потеряли в Александре III незаменимое родное существо? Каково им?..

Каково бы им ни было, но, нужно правду сказать, такая величественная, чуть ли не захватившая всю землю обстановка их горя, – весь этот божественный блеск их несчастия, эта красивая приподнятость их страдания, которому будто вторит все человечество, – разве все это не залечивает во сто крат успешнее сердечные раны? Разве можно сравнить такое горе с горем безвестной вдовы, которая провожает гроб своего безвестного мужа из Обуховской больницы и не видит перед собою впереди ничего, кроме нищеты?..

Здесь – не только не может быть речи о материальных тревогах, о голоде, о черством безобразии смерти, о жалком ограблении за одно право устроить мертвеца на кладбище, – здесь, хотя сердце так же беспомощно и вопросы души так же ни в ком и ни в чем не найдут ответа, – но зато: как все сглажено, убаюкано, прикрашено! Сколько расточается отовсюду поклонения умершему; в каком завидном ореоле сияет его память с самой минуты кончины! Все мы, теряя близкого, думаем: как мало его знали! как мало ценили! И он погиб, как ничтожество! И вокруг все радуется, как будто его никогда не существовало! Мировая политика, честолюбие властителей и сановников, повседневные забавы людей, живая и любопытная работа печати, беспечная суета окружающего нас города и всей далекой земли – все это, чуждое нашему страданию, держит себя так унизительно-безучастно по отношению к памяти умершего, что нам кажется,

будто во всем этом хаосе исчезает самый след его души и будто вся земля смеется над его смертью.

А здесь? Какая полная гармония между всем видимым миром и внутреннею скорбью тех, кто понес утрату! Все государства земного шара поникли в печали; все гордые счастливцы нашей планеты откликаются тревожным сочувствием; а в России? Все честолюбцы налицо, смущенные и безвластные; все, до чего достигает глаз, стремится заявить о своем трауре; нет развлечений, нет литературы…

У нас, простых людей, самый дорогой мертвец остается по ночам в пустой комнате или в темной и страшной, чуждой ему церкви. А здесь вокруг гроба – непрестанная красота, блеск и жизнь: бриллианты царских венцов, расшитые мундиры, дежурство самых видных людей в стране, благоговейное пребывание на страже самого цветущего юношества…

А перевезение гроба от Ливадии до Петербурга! Сколько невидимых для царской семьи, но самых ответственных, неусыпных и страшных трудов стоила эта поездка целому сонму сановников, чиновников и чернорабочих! А ведь все это шествие и путешествие были для опечаленной семьи одной сплошной негой величия и всемирной скорби!.. Декоративное перенесение останков от Ливадии до Ялты – постановка гроба в Ялте на крейсер «Память Меркурия» – переплытие от Ялты до Севастополя на превосходном пароходе «Орел» – вступление в богатейшие, бесшумные, мягкорессорные вагоны с салонами, спальнями и кухнями, для следования от Севастополя, мимо всех губернских городов, до Москвы и Петербурга – помещение гроба в особый, великолепно-печальный вагон, обставленный наподобие храма, полный траура и огней, охраняемый параднейшею избранною стражею – попутное следование прочих многочисленных членов той же избранной семьи по тем же рельсам, на других поездах, – трепет начальников станций, телеграфистов, стрелочников, сцепщиков, спешные ночные работы декораторов, – религиозная дрожь выступающих из провинции депутаций… и все это сливается в одно сплошное согласие непогрешимой исправности, угодства, поклонения и сострадания…

Итак, мы, петербуржцы, как зрители, поджидали к себе действующих лиц ливадийской трагедии. Накануне въезда я узнал в нашем клубе (Невский, 84), что желающие видеть процессию должны прибыть в клуб к половине девятого утра. Мое семейство собиралось на это зрелище в частную квартиру по другой стороне Невского.

1 ноября все в моем доме проснулись к 8 часам утра. Мы

встали при неимоверных потемках. Были зажжены лампы. В окнах виднелся густой дымчатый туман. Сквозь двойные рамы слышался гул бесчисленных колес: все спозаранку торопились к Невскому. В нашу квартиру позвонила одна барышня, которая привела своего брата, чтобы устроиться вместе с моею семьею в том доме, куда собирались мои. Свежие, здоровые, веселые голоса раздавались в комнатах. «Слава Богу! – думалось мне, – у нас никакой подобной беды нет». Все, несмотря на суровую темноту этого утра, чувствовали настроение возбужденного любопытства.

Я спустился с лестницы и вышел. Не без тревоги ожидал я: проберусь ли через Надеждинскую, на тротуар, ведущий в клуб. Но никаких рогаток и запретов не было. Я легко протискался между массою любопытных, запрудивших угол Надеждинской и Невского. Швейцар открыл мне двери клуба, и я поднялся в бельэтаж. У нас было просторно. Я выбрал одно из окон бильярдной, у которого сидело всего три человека. Наши лакеи, по распоряжению старшины, разносили на подносах чай с печеньями для зрителей.

Туман висел над Петербургом, и Невский был грязен, но погода стояла тихая, – суховатая, хотя и пасмурная. Тротуары были запружены народом, но широкая середина улицы оставалась пустою на всем протяжении. На противоположной стороне, в тусклых окнах домов, задрапированных траурными украшениями снизу доверху, виднелись пятна многочисленных голов, расположившихся у всех стекол. Толпа на тротуарах, как бы сдерживаемая невидимым шнурком, не переступала за черту, отмежеванную для войск и для процессии. Только неизбежная собачка – какой-то серый пуделек – мелькала от времени до времени на свободной части Невского, доступной нашим глазам. Дворники счищали последние слои грязи. Кучки красного песку были еще не тронуты. Но фигуранты шествия в генеральских треуголках уже сновали тоненькой полоской по середине улицы. Проехали к вокзалу траурные кареты с траурными лошадьми цугом и с императорскими гербами на черных попонах. У одной кареты стояли на запятках два траурных казака: это – карета для государыни. А вот мягко покатилась к вокзалу и погребальная колесница, громадная, золотая, везомая восемью лошадьми, с букетами страусовых перьев, с короною на вершине и с балдахином последнего фасона – более продолговатым и правильным, нежели балдахин над гробом Александра II, который, как помнится, как-то весь уходил в пышный круглый купол. Церемониймейстеры, конные и пешие, начали озабоченно справляться со своими программами. Кавалергарды выстроились

на серых лошадях по краям улицы и заслонили толпу. Дворники начали разбрасывать песок. Появились ломовики с ельником. Весь путь в несколько минут принял нарядный вид. И все эти последние приготовления были рассчитаны к моменту прибытия поезда.

А там, – думалось мне, – между Колпино и Петербургом – великие актеры этой процессии в эти самые минуты уже приоделись, как у себя дома, в своих плавучих комнатах, и затем выступят из них по бархатным дорожкам и войдут в это необъятное и мучительно составленное торжество так же легко, как из кабинета в залу, и сделаются центром всех сердец и взоров. И все двухмиллионное население столицы будет следить за ними, скованное двумя великолепными линиями войска, ограждающего расчищенный для них путь, и траур домов, и звуки труб отовсюду будут воспевать их скорбь – и все, что только возможно придумать в наше время на земле для возвеличения смерти, – все будет участвовать в этом их следовании за умершим к месту его успокоения.

Я посмотрел на часы: поезд уже подходит. На станции, где собрались все министры, должна быть отслужена лития. Через каких-нибудь минут двадцать мы увидим гроб. С нашего места нельзя было видеть первой половины шествия: она должна была расставиться впереди и двинуться чуть ли не в минуту выхода царской семьи из вагонов. И действительно, перед нами уже проходили в стройном порядке какие-то чиновники. Настроение зрителей было игривое: среди проходивших многие узнавали своих знакомых; невольные шутки напрашивались на язык. Потянулась бесконечная вереница попов, шедших попарно в белых ризах и лиловых скуфьях, с зажженными свечами… целая верста дьяконов или певчих, между которыми встречались юные здоровяки с веселыми и даже смеющимися лицами… Затем еще духовенство в камилавках, затем густо, как град, замелькали глазетовые подушки с нашитыми на них лентами в виде оборчатых кружков и всевозможными звездами внутри: ордена государя. Затем: регалии – корона, другая, третья, скипетр, держава, бриллиантовая тяжкая корона русских императоров – потом целая толпа архиереев и позади всех с раскрытым складнем на руках высокий и седой духовник покойного царя. И вот я уже вижу траурных коней колесницы… мой сосед говорит: «Вот государь», т. е. новый. Я ищу его мне больше всего хочется его видеть – и пока я глазею, колесница проплывает – и сейчас за нею, вдвоем с кем-то, на свободном месте идет в новеньком военном пальто со смушковым воротником, в ботфортах и черной смушковой шапке недавний наследник – теперь – *государь*

император! Он остался в полковничьей форме, которую носил при отце; он сухощав, невелик ростом, плечи у него узкие, – юношеское лицо с бородкою исхудало. Он идет без всякой позировки, натуральной походкой неприметного юноши. Разговаривая о чем-то со своим спутником (кажется, принцем Уэльским), государь жестикулирует, как будто в чем-то убеждает его и, несколько подняв руку, делает движение пальцами, обтянутыми в свежую замшевую перчатку. Голова его чуть-чуть наклонена и спина – тоже: в его фигуре нет ни малейшей сценической выправки. Он имеет вид простого молодого человека.

Затем – толпа белых шапок – это царская фамилия – и траурные кареты царственных дам, такие темные снаружи и внутри, будто они состоят из одной сажи.

Это главное впечатление длилось не более одной минуты.

Я вспомнил, что одиннадцать дней тому назад я видел вечером, при огне, в этой самой бильярдной, депешу о кончине Александра III. И вот уже его тело, привезенное с юга, проследовало мимо окон этой бильярдной. Теплые, невозобновимые впечатления того вечера, той первой минуты – уже испарились. Прошло немного времени даже с того дня, когда я сострадал больному, но еще живому Александру III, и входил в его положение, и гадал о его будущем, и ожидал вместе с ним грозящей мучительной развязки – и вот: все уже сделалось, все поспело к сроку, и все уже кончено.

Не дожидаясь конца процессии, я вышел из клуба в толпу. Проталкиваться было очень трудно. Все давили друг друга, стараясь не прикоснуться к целой стене крупных лошадиных задов. На них сидели кавалергарды, вооруженные стройным лесом своих флагов, торчавших над ними в туманном небе, – и трубы звучно рыдали, передавая от одной части войска в другую нескончаемую торжественную мелодию, исполненную скорби, молитвы и величия…

Невозможно оживить для будущего читателя всего, что перечувствовалось всеми в траурную неделю, от 1 до 7 ноября, пока гроб Александра III стоял открытым в Петропавловской крепости и обкуривался панихидами по два раза в день.

Склизкий, непрерывный туман во все эти дни обволакивал столицу. Земля была черная. Потемки были такие сгущенные, что с утра нужно было зажигать лампы. На каждом подъезде, на каждой вывеске торчал траур. Флаги, как вороны, обсели все стены. Придворные кареты (повторяю сравнение), точно обмазанные сажею, то и дело направлялись за Неву. По вечерам из-за крепости поднималось, как отблеск луны, электрическое

освещение, устроенное впервые по случаю этой кончины в крепостном дворе. И там, под золотою сенью с горностаем, лежал, вытянувшись в своем гробе, длинный покойник.

Каждый подданный, бывший его рабом при жизни, теперь получил какое-то особое, сыновнее право – идти и смотреть на него. И все видели его мертвое лицо, ежедневно подправляемое и обсыпаемое цинком и однако же чернеющее день ото дня с неудержимым упорством. Мне очень хотелось добраться до того места, где на пространстве нескольких аршин лежит это несравненно-важное тело, о котором все думают, говорят и пишут. Но я не попал в Петропавловский собор. Я только знал и видел, что в течение всех этих семи дней все население тянулось туда: моя гувернантка и моя прислуга, потеряв около пяти часов, добрались-таки до царского гроба и умилились видом умершего. За эту неделю мне часто встречались на улицах процессии разнообразных воспитанников, чистеньких и благонравных, шедших попарно поклониться гробу государя под предводительством своих наставников.

Накануне погребения, из окна парикмахерской, я видел на Невском герольдов, объявлявших народу о завтрашней церемонии. Это было в воскресенье. День был сырой и пасмурный, как и все предыдущие. Публики в эти дни было вообще много на улицах, и почти вся она была в черных одеждах. В толпу врезался отряд кавалергардов с трубами, в латах и касках, и остановился перед дворцом Сергея Александровича, у Аничкова моста. Масса любопытных разгруппировалась вокруг, на мостовой и тротуарах. Два всадника в черных бархатных костюмах, с крупными серебряными гербами на спине и груди, в широких траурных шляпах со страусовыми перьями, остановились впереди отряда. Один из них, более важный, сделал знак, чтобы трубные сигналы прекратились, и театрально вытянул руку в черной перчатке с крагами, подняв серебряный жезл с золотым орлом на конце. Тогда другой, младший, стал читать объявление по крепкому листу из пергамента с привешенною к нему печатью. Все обнажили головы. Это продолжалось не более минуты. Затем старший герольд опустил руку – и отряд поскакал далее.

Посетители парикмахерской возвратились к своим туалетам. Один из куаферов, француз, сказал своему клиенту: «C'est primitif, mais c'est bien, èa rehausse»[17].

В утро погребения туман сгустился до того, что дома были видны только до половины. Он заглушил даже те чрезвычайные залпы (из шести пушек зараз), которые раздаются лишь при спуске в могилу императора, дабы все содрогнулись в эту минуту

и поняли, какое великое событие совершилось перед наступающею затем вечною тишиною.

На следующий день ни одного клочка траура уже не было на стенах Петербурга.

Хочу высказаться об этом умершем под свежим впечатлением его личности, которую каждый из нас на себе испытывал. Это был царь-гувернер, царь-опекун, царь-ключник, который понемногу прятал под замок все вольности. Он смотрел на своих подданных, как на неразумных, расшалившихся детей. Он задумал напечатать для них твердые правила благонравного поведения и водворить порядок. Он сознавал в себе достаточную для этого силу, потому что сам он был насквозь пропитан неколебимым уважением к долгу. Его собственная жизнь была далеко не красна: наименее красивый из сыновей Александра II, он должен был неожиданно заместить своего очаровательного брата Николая, который уже был объявлен женихом привезенной из Дании хорошенькой Дагмары. Всем не нравилось его лицо, все сочувствовали осиротевшей невесте; никто не приготовился и никто не желал видеть этого курносого, ничего не обещавшего юноши, наследником престола. Но он вытерпел долгий срок, приучил себя к мысли сделаться мужем чужой невесты, принял свою службу, как нечто неизбежно посланное ему свыше, обвенчался и скромно зажил в Аничковом дворце. Вскоре пошли у него дети – один за другим, т. е. от него расплодилось прочное продолжение династии, а он по-прежнему оставался незаметным, молчаливым и непонятным. Будучи наследником, он перенес жестокий тиф, который истребил его волосы и положил начало его постепенно расширявшейся лысине. Скромность и семейная замкнутость водворилась в его тихих палатах у Аничкова моста. Революционеры убили его отца. Он выступил из тени, плачущий, скупой на слова, могучий по фигуре, простой в обращении. Никто не знал, какая крепкая религия сидела в этом человеке, как твердо и грустно смотрел он на обязанности жизни. Он видел вокруг себя кровопролитие и хищения… Он напомнил простые заповеди Божий: «не убий», «не укради», «не прелюбы сотвори»… Он сам для себя понимал спокойствие и то условное счастие, какого можно достигнуть на земле, – только при исполнении этих заповедей. И все, что было пригодно для водворения таких идеалов жизни, – он «признал за благо». Вдохновленная сильною внутреннею верою, его система стала понемногу прививаться. Он притушил всякие порывы к опьяняющей, но пагубной, по его понятиям, новизне. Он вытащил из архива старые заветы. Поменьше речей и суеты – побольше тишины и порядка. Кто провинился, тот непременно должен быть наказан. Все, что

смущает или может смутить страну, должно быть прикрыто и остаться известным только одному правительству. Он обрезал гласность судебных процессов вообще, а для политических дел – совсем ее уничтожил. Дела о преступлениях против должностных лиц и о банковых растратах он отнял у присяжных заседателей и передал в коронный суд. Печать съежилась и притихла; чиновники засуживали, сколько могли. В иностранной политике Александр III придерживался той же заповеди: «не убий». Он всем желал мирной, скромной, уравновешенной жизни. На все дипломатические лукавства он отмалчивался, прекрасно сознавая, что за его спиною полтораста миллионов воинов. Этот массивный и настойчивый человек держал в своих руках ватерпас, по которому он ясно видел, как нужно сглаживать и принижать до линии горизонта всякие проявления беспокойства, волнения, задора и страсти как внутри государства, так и вне его. И его загадочная неповоротливость производила впечатление страшной силы. А теперь, после его кончины, сделалось совершенно ясным, на каком именно якоре он укреплялся против всякой бури. Он верил в Бога, в тяжкий земной долг и в высшую справедливость. Суровая меланхолия скрывалась за его миролюбивыми улыбающимися глазами. Сам он испытывал постоянные несчастия. Кроме всего того, о чем я уже сказал, – в середине своего царствования он едва уцелел со всею семьею от неминуемой гибели под обломками поезда. Он любил отца: отца убили. Он обожал детей – его второй сын с отроческих лет заболел чахоткою, а последняя дочь повредила свое здоровье при катастрофе 17 октября. Его первенец достигал возмужалых лет и не помышлял о браке. Его ближайшие приятели, его собеседники в часы отдыха, которых он, однако же, никогда не допускал до влияния на государственные дела, – умирали один за другим. Он видел, что вне его и вне всех людей есть какая-то грозная власть, перед которою, по его мнению, нужно было всегда держать себя в чистоте, чтобы не обезуметь и не погибнуть окончательно. Он успокоился на этой трудной и скучной честности и считал необходимым сделать ее руководящею силою для жизни всех своих подданных. Он видел в этом призвание царя. Ни одному из своих министров он не дозволил овладеть собою. В каждое дело он внимательно вчитывался, работал неустанно и доискивался до правды. Но министры докладывали ему только то, что хотели, – и он, в сущности, несмотря на свои непосильные труды, все-таки видел и понимал только самую ничтожную долю из всего того, что творилось в его земле. В своем величавом простодушии, он задался такою целью, которая была недостижима! Никто не станет оспаривать, что он был «благочестивейший и

самодержавнейший», – и сам он держался того убеждения, что быть благочестивым, не будучи самодержавным, – едва ли возможно… Но в этом-то и кроется разгадка того немого и холодного недоумения, с которым относились к нему его пасмурные и неблагодарные подданные. Самодержавие было ему необходимо для его честных намерений, и он его подкреплял, чем только мог, осторожно, вдумчиво и последовательно, а между тем это самое самодержавие развращало его служебную челядь, которая непосредственно соприкасалась со всеми управляемыми, и все чувства, внушаемые населению этою челядью, невольно переносились на него. Все говорили: «хороший человек… но разве он может один все знать и видеть? Посмотрите, что его окружает!»

Между тем камертон, данный государем, почуялся сразу, от мала до велика, всеми, кто носил мундир. Да, этот мундир снова сделался могучим и священным, на какой бы тупице и на каком бы негодяе он ни сидел. Воскрес культ чиновника! Все наружные знаки отличий перед властию возвысились в цене. Дворянское происхождение и всякая рухлядь старинной монархии снова попали в почет. Душно становилось от мертвой петли, которою была затянута всякая свежая мысль, – всякий порыв благородного и страдающего сердца, не одаренного тяжким равновесием сил и твердою верою в Бога самого императора. По наружности все обстояло благополучно; все было шито и крыто; на вершине России стоял несомненно честный человек; но вокруг него сгруппировались самые ничтожные советники и сподвижники, а тотчас под ними – начиналась сплошная дрянь. Это было такое спокойствие, которое все называли «измором». Все уснуло «сном без сновидений» (d'un sommeil sans rêves), как удачно выразился Мельхиор де Вогюэ (кстати сказать, вычурный и пошлый писатель).

И за всю жизнь Александру III не довелось видеть, чтобы народ оценил его честные громадные труды: он чувствовал, что страна уважает его, но не любит тою неудержимою, горячею любовью, которая невольно высказывалась бы народом при его появлении среди него. Он, впрочем, довольствовался одним уважением и, вероятно, думал, что люди, по своей природе, неблагодарны. Его утешал суд Божий, перед которым он сознавал себя безупречным. Но в самые последние минуты у него вырвались слова, исполненные мужественного трагизма. Он сказал стоявшему у его изголовья отцу Иоанну: «Народ любит вас»… Тот ответил: «Да, ваше величество, ваш народ любит меня», и Александр III проговорил: «Да, потому что он знает, кто вы и *что* вы». А между тем вокруг него, вокруг своего монарха,

этот народ никогда не толпился с такой любовью, как возле простого священника, всегда доступного и всем знакомого вследствие простого человеческого общения. У Александра III не могло быть подобного общения с его подданными. И он горько думал о том, что *каков он в душе своей* – осталось тайною для народа.

Народ только знал, *кто он,* но не знал, *что он…*

Теперь все это знают… И однако же едва ли бы Россия пожелала воскресения Александра III.

«И он был честный человек!..» (Шекспир, «Юлий Цезарь»).

XLVII

Я не присутствовал при кончине брата Павлика, и мне не довелось быть в Киеве почти в течение четырех лет после его смерти. Но в начале марта прошлого года я принял защиту в г. Козельце, чтобы, кстати, побывать и на могиле брата.

Деловые поездки всегда меня оживляют как-то мучительно. Я их проделываю с утомлением и невольным любопытством, хотя в глубине души ничего от них не ожидаю. И все-таки выезжаю с приятною тревогою: смешиваюсь с толпой пассажиров, инстинктивно ищу себе удобства в вагоне, имею деловой вид, терпеливо слушаю грохот поезда и свистки паровоза, выхожу к буфетам, осматриваю из окна какой-нибудь безвестный полустанок с мимолетными человеческими фигурами на дощатой платформе, предаюсь мыслям о цели моей поездки и об оставленной семье, принимаюсь по нескольку раз за газеты, купленные в Петербурге, курю или жую что-нибудь, потом ложусь и опять думаю и дремлю, и куда-то уношусь и, сквозь сон, слышу толчки, разговоры… Вагонная сонливость не покидает меня даже во время остановок поезда, и я не меняю позы, а только вспоминаю, проснувшись, что еду, – что меня везут из Петербурга в Москву, и что утром я выйду из вагона в совсем новый городской мир.

Итак, я выехал по Николаевской дороге с моим обычным представлением, что я спускаюсь по земному шару сверху вниз и влево – к тому месту, где меня ждет Киев. По этой кривой линии на нашем глобусе моя мысль проносилась каждый раз, когда я вспоминал о брате. Вся его жизнь за последние 17 лет никогда не рисовалась мне иначе, как в конце этой линии, в определенной декорации Киева, с Крещатиком посередине. Там прошумела и затихла эта жизнь. И мне казалось, как будто тень брата зовет меня туда и радуется моей поездке, и в то же время загадочно безмолвствует и подтрунивает над суетливою деловитостью – над мнимою разумностью моего путешествия… «Приезжай… приезжай поклониться моей могиле… Это хорошо… Это тебе давно следовало сделать… По крайней мере, ты убедишься, что я действительно умер и лежу под землею… Это и есть самое важное, – а все остальное, из-за чего ты теперь хлопочешь и что ты вокруг себя видишь, – это пустяки». Такие именно речи брата мне воображались, и весь Киев под его далекими небесами рисовался мне в виде поджидающего меня саркофага, осененного громадною тенью моего брата, который был зарыт где-то за городом, на крошечном кусочке земли…

В Москве сияло солнце над растаявшим черным снегом. Около часу дня, на Курском вокзале, в ожидании поезда, среди пестрой говорливой толпы, я присел к столу и спросил себе легкий завтрак. Я был бледен, утомлен и чувствовал себя скверно. Но весь народ, шумевший вокруг, озаренный млеющим солнцем ранней весны, был для меня интересен. Мне нравились даже зеленые рюмки для рейнвейна возле тарелок, хотя этого вина пассажиры никогда не спрашивают. Каждая группа бутылок, расставленных на столе, каждый сальный пирожок, подаваемый на блюдечке торопливому путешественнику, каждая шуба мужчины или меховая кофточка дамы, все багажные узелки на скамейках – все это имело для меня необъяснимую живую прелесть.

После долгого и однообразного переезда до Курска, поезд свернул ночью на Киевскую линию. На другой день в Нежине ко мне присоединился местный адвокат, пригласивший меня в Козелец. Мы должны были выйти в Бобровицах, за две станции от Киева, и сесть в заранее приготовленную старую и какую-то твердую карету, в которой нам предстояло сделать около сорока верст на лошадях. Отъезжая от Бобровиц, мы увидели влево от себя Киевские горы с колокольнями… И я вглядывался в этот отдаленный пейзаж, как будто сердце брата следило за мною оттуда, из глубины темных холмов…

Козелец – большая деревня, реденькая и раскинутая. В нем замечательна только церковь Растрелли, пирамидальная, пятиглавая, с густо насаженными куполами на вершине откосных стен, с обычными круглыми оконцами, нишами и лепными узорами этого екатерининского зодчего. Завелась она в Козельце благодаря графу Разумовскому, который был простым пастухом в ближайшей деревне, а потом попал в придворные певчие и т. д.

Процесс о поджоге застрахованного имущества длился два дня и окончился оправданием. Я квартировал в одной из комнаток почтовой станции. Заседание происходило в убогой низенькой зале земской управы. Судьи и прокурор, приехавшие из Чернигова, были седые, утомленные службою люди с хохлацким произношением, в потертых мундирах. От пребывания в Козельце у меня осталось впечатление длинных просыхающих площадей и глубокой грязи в переулках.

Опустившееся солнце било прямо в окна почтовой станции в 6 часов вечера, когда ко мне собрались радостные после оправдания подсудимые. Одного из них защищал киевский адвокат Богданов (тот самый, который подвизался со мною в гомельском деле), и мы согласились с ним отправиться вместе в Киев, куда должны были поспеть к ночи. Он знал Павлика.

Возвращаясь из Козельца в знакомой уже карете по лесистому шоссе, мы много разговаривали о брате. За час от Киева мы вышли на почтовую станцию «Бровары». Была уже ночь. В голой комнатке с желтыми обоями горела спускавшаяся с потолка керосиновая лампа. Содержатель станции, еврей, с умилением вспоминал брата и говорил, что в этой самой комнате останавливался Павлик, когда приезжал сюда защищать одно дело с Куперником.

От Броваров мы ехали все время среди высоких черных деревьев, поднимавшихся из мрака. Была минута, когда вдруг, не доезжая моста через Днепр, сразу заблистали все бесчисленные огоньки Киева. Но после моста въезд в город и подъем на гору казались бесконечными. Все было черно вокруг. Я допытывался от моего спутника, в какой стороне Аскольдова могила (кладбище, на котором похоронен брат), и он мне указывал куда-то влево, где я видел только пустынную гору, по которой в нескольких местах виднелись в потемках редкие керосиновые фонари. Мы все поднимались, без всяких признаков города, по дороге, обсаженной деревьями, и только когда подъем кончился, загремела мостовая среди редких домиков, а потом начался довольно крутой спуск, и через несколько минут мы очутились на веселом и освещенном со всех сторон Крещатике. Я оставил свои вещи в «Гранд-отеле» и пошел с Богдановым в Дворянский клуб, где имя Павлика было так популярно, где он проигрывал тысячи, где его словечки были у всех в памяти, и где все посетители готовы были встретить меня, как родного, отыскивая во мне черты сходства с Павликом и радуясь хотя бы моей кровной близости к умершему. Я читал эти чувства на всех лицах – открытых, дружелюбных и веселых – при одном воспоминании о брате. Усталые с дороги, мы с Богдановым спросили себе поужинать. За длинным столом сидело человек десять. С разных концов незнакомые люди обращались ко мне с улыбающимися лицами и забавными разговорами, как будто бы сам Павлик приехал в клуб. Я не умел заменить брата, но был счастлив этою атмосферою неумирающей любви к его живучему, объединяющему всех образу…

На другой день все улицы Киева воскресили передо мною жизнь брата. Я видел дом на Крещатике, в котором он квартировал, я побывал в доме Сетовых, где он проживал женатым; я поднимался по той же каменной лестнице, звонил у тех же дверей, ходил по тем же комнатам… Мне показали гостиницу Дьякова, в которой он умер. Я смотрел на маленькие окна в верхнем этаже, чтобы угадать тот номер, в котором он скончался. Дом этот выступает углом на театральную площадь.

Почти каждый вечер Павлик бывал в театре и после каждого представления непременно кутил до рассвета. И, конечно, никогда не помышлял о фатальном угловом доме, который его сторожил… Его тело было вынесено в церковь св. Георгия, где и ночевало в гробу. Я смотрел на эту продолговатую серую церковь с широкими окнами, испещренными мелкими белыми переплетами. Едва ли когда-нибудь Павлик взглянул на нее!.. Отдельные минуты его жизни четко вставали передо мною: Павлик в богатой коляске при ясной летней погоде везет меня с женою в Лавру… Павлик угощает нас мороженым в кондитерской… Павлик, женатый, заходит со мною в ювелирный магазин и покупает браслет какой-то молоденькой и «хорошенькой» даме… Павлик, в маскараде, сидит со мною за ужином возле двух неизвестных барышень, закутанных в домино, и подозревает в них чудеса красоты… Павлик, со слезами на глазах, читает мне неумелые, чувствительные стихи какого-то члена окружного суда… Павлик везет меня вечером по какой-то наклонной улице в «Драматический кружок», где он экспромптом играет всякие роли, и держит себя настоящим падишахом среди самых бесцветных любительниц, в которых он один умеет видеть что-то привлекательное… Павлик прожигает жизнь… Павлик сострадает всякому горю… Павлик вечно создает вокруг себя сочувственный смех… Павлик считает себя неистребимым… Вне жизни он не понимает себя!.. Он умолк. Все живут по-прежнему.

Я – живу! И мне странен мой номер гостиницы, мне странен свет солнца… И я ожидаю от моей поездки на кладбище какого-то примиряющего свидания!

Но в этот первый день я туда не поехал. Я обедал у Сетова. От прежней шумной семьи осталась одна дочь, девушка, да муж другой дочери, капельмейстер Пагани, жена которого была в отсутствии. Сам Сетов и Павлик умерли. Сетов скончался менее трех месяцев тому назад. В доме еще носилось тяжелое воспоминание о его смерти. Мне показывали его фотографию в гробу. В его кабинете, на его белой убранной постели, на которой он умер, лежал поверх подушки серебряный венок от почитателей, и лампадка горела перед образом, в изголовьи. Умерли и многие из актеров и певцов, посещавших этот дом. Остальные дочери Сетова и приятели брата разбрелись по всему свету. Всем нам было жутко за нашим молчаливым и тесным обедом. Комнаты этой, когда-то неистово шумевшей квартиры, обдавали всех нас какою-то грозною тишиною, как будто все мы, оставшиеся – немногие – пользовались чем-то запретным и страшным, от чего следует поскорее бежать, – бежать без оглядки туда, куда ушли покойники.

А брат ждет меня на Аскольдовой могиле!.. Завтра туда поеду.

Я проснулся в моем номере в сплошном золоте весеннего солнца, которое сияло даже сквозь спущенные белые шторы. С кровати казалось, что на дворе май. Было ярко и жарко. На шторах виднелись мухи. За окнами гремели колеса. Я решил ехать на кладбище после завтрака.

Когда я вышел на воздух, день оказался ветренным и свежим. Для поездки за город меховая шинель была только-только впору. Я взял извощичью коляску, и мы быстро свернули с Крещатика в гору, на Липки. С этого поворота я получил совсем живое впечатление, будто еду на свидание с Павликом. Что-то теплое и трогательное подкрадывалось к сердцу, и мне становилось жалко самого себя. Я знал, что еду к безответному и безвозвратному, но к родному… Коляска мягко покачивалась. Длинная нагорная улица делалась все более безлюдною по мере удаления от Крещатика. Я воображал себе, что если бы какой-нибудь знающий меня киевлянин встретился мне, то он бы догадался, куда я еду, и подумал бы мне вслед, что я пробираюсь к Аскольдовой могиле для исполнения грустного долга. И всякий бы, в своем воображении, растрогался, соединяя двух братьев, разлученных смертью. И хотя мне никто не попадался на дороге, но я во все время пути как бы чувствовал присутствие такого воображаемого зрителя, следующего за мною, и сам, со стороны, жалел себя… Встречные дома весело обрисовывались на солнце. Я смотрел то вправо, то влево.

Но вот уже мы взобрались на вершину и повернули мимо Лавры к кладбищу. Ветер становился резче, свободнее и сильнее, а небо по-прежнему было синее и безоблачное. Вдруг эти – уже загородные – проезды начали мне живо напоминать тот летний день, когда мы катались с Павликом по этим самым местам. Вся эта дорога уже была мне знакома. Смуглое лицо брата с короткими, смолисто-черными волосами, остриженными ежиком, его барская щедрость, беспечность и веселость, вся его сангвиническая фигура в платье модного покроя, его густовато-крикливый разговор с неиссякаемыми шутками – все это воскресло вдруг где-то вблизи меня – будто рядом со мною, в коляске…

Но вот уже и поле. Желтая, только что высохшая дорога с волнистыми ухабами, обсаженная деревьями, направилась к белой ограде и воротам кладбища. Кучер подкатил меня ко входу в оградку с тою сосредоточенною услужливостью, в которой он хотел выразить, что он вполне понимает печальное значение моей поездки.

Я вступил в ворота, как бы в подъезд громадного дома, в котором теперь живет Павлик среди нескончаемой толпы немых квартирантов. Памятники тотчас зачастили передо мною, теснясь вокруг небольшой белой церкви. Кладбище скатывалось вниз по горе, под которою расстилалась необъятная даль днепровской долины. Ветер свистал во всю волю в золотом солнечном просторе. Я боролся с ним, нагибая голову и кутаясь в шинель. Мне говорили, что брат погребен где-то вблизи самой церкви, и я кружился между могил, прилегающих к ее стенам, и с тревогою читал надписи и думал, что самое сердце толкает меня в ту сторону, где лежит Павлик. Но я четыре раза обошел церковь и не нашел могилы. Тогда я обратился к сторожу, и он меня повел на самый скат горы за церковью. Я шел за ним со страхом и ревностью: мне казалось в эту минуту, что этот сторож ближе моему брату, чем я. И даже, когда он мне указал рукою на памятник, – я растерялся и не сумел сразу понять, на какую могилу он указывает, потому что не видел ни надписи, ни портрета: с того места, где мы стояли, была видна только задняя сторона памятника. Сторож уткнул мои глаза на высокий и тонкий чугунный крест, голо поднимавшийся на большом пьедестале из желтоватого камня. Я дал сторожу мелочь, и он удалился. Тогда я обогнул памятник. Действительно, на пьедестале был медальонный портрет брата и надпись: «Павел Аркадьевич Андреевский».

Я оперся на решетку, увидев эти буквы, и зарыдал так громко, как в детстве, обливаясь неудержимыми, падавшими на землю, слезами… Ветер подхватил пелерину моей шинели и покрыл ею всю мою голову. И я плакал в черном сукне, не видя солнца. Мне казалось, что из-под земли глубочайшее сочувствие брата согревало и успокаивало меня. Я как бы чувствовал на себе его поцелуй, – его немую, но чрезвычайно нежную благодарность, – как будто все недомолвки, все шероховатости, случившиеся в наших сношениях при жизни, – были им навсегда прощены и забыты – и будто, кроме всеобъемлющей любви ко мне, – ничего иного теперь не было в сердце брата… Я плакал и, покрытый сукном, целовал чугунную решетку. Потом, когда вылились первые слезы, я откинул пелерину и – ослабевши – поникнув на решетке, – рассматривал опухшими тусклыми глазами аккуратный и прочный памятник. Я увидел на пьедестале высеченную из камня раскрытую книгу со стихами из Никитина на двух небольших страницах:

Тише! О жизни

покончен

вопрос.

Больше не надо

ни песен,

ни слез.

…«Не надо слез… О жизни покончен вопрос…» Как это подходило к откровенной и гордой философии брата, к его кипучей и неразгаданной натуре!

Стриженая голова Павлика и его напряженные мыслью глаза в черепаховом pince-nez смотрели на меня из фотографического медальона. Но Киев, в котором он истратил свое сердце, шумел далеко внизу, неслышный и невидный нам обоим, – и голая солнечная даль окрестных полей необозримо желтела под нами, за кривою лентою Днепра, – и не было ни одного дома вокруг… одни только соседние могилы… да небо, да ветер и солнце.

И я не хотел пошевелиться, а только слабо вздыхал и смотрел вверх неподвижными глазами. Судороги сжимали мне горло, и новые слезы бежали по щекам без удержу. И так я проплакал долго, в несколько приемов, облокотившись на решетку и по временам целуя ее, с рассеянным и безнадежным взглядом на самую могилу.

И наконец – отошел. Поднимаясь в сторону церкви, я увидел на ближайшем выступе горы, как раз над Павликом, более грубый, но такой же высокий чугунный крест над могилою первой жены теперешнего министра финансов Витте. Я знал, что Витте искренно любил брата. И вся карьера Витте, имевшего в настоящую минуту такую власть в Петербурге, – показалась мне чепухою.

Я снова встретил сторожа и попросил его указать мне могилу Сетова. Случайно мы оказались как раз возле нее. Деревянная решетка окружала большой квадрат желтой земли, покрытой увядшими венками с разнообразными лентами. Деревянный белый крест временно обозначал эту могилу. Сетов лежал

несколько выше, но недалеко от Павлика.

Еще раз я возвратился к памятнику брата и еще раз, уже без слез, поцеловал чугунную ограду.

XLVIII

Сегодня, 3 июня, я проходил через Александровский сад. Погода была дождливая и свежая, а зелень яркая и нежная, еще весенняя. За последние годы я часто переживал ощущение весеннего блеска именно в этом саду. Этот сад всегда попадался мне на пути из Сената. Случалось мне и нарочно ездить в него днем, в праздники, или в светлые петербургские вечера, когда почему-нибудь не хотелось за город. Я видел множество женщин и чиновников в аллеях, видел в жаркие воскресные дни целую толпу детей возле круглого фонтана, видел случайные парочки на уединенных скамейках: улыбающегося обольстителя и принаряженную незнакомку. Этот длинный проходной сад под сенью адмиралтейского шпиля как-то безмятежно соединяет в себе разнообразное столичное население и затем свободно выпускает его на Невский, к шумному перекрестку конок и к магазинам эстампов, вокруг которых всегда останавливается и толпится какой-то добродушный народ, с одинаковою мечтательностью осматривающий и картинки, и прохожих. Все это вместе сообщает каждому, погулявшему в Александровском саду, впечатление всеобщей терпимости и благоволения. Здесь и старики, и студенты, и гувернантки с книжками, и молодые бюрократы, и больные дамы, и простонародье, и «погибшие созданья» с фиктивными покупками (чтобы не придиралась полиция) – и все это входит и выходит, не возбуждая ничьих подозрений. Каждому здесь легко; каждый ведет себя естественно.

Сегодня я шел по этому саду с невольным ощущением вечности: ведь вот, – думалось мне, – сколько я пережил, из года в год блуждая по этим аллеям, сидя на этих скамейках. Здесь, своими глазами, на своей коже, я переиспытал все оттенки периодически наступающей и переходящей в лето весны. Я видел смену одежд, я вдыхал первые благоухания зелени, я любовался возраставшим многолюдством сада, рассматривал бесчисленные лица прохожих, подглядывал чужую жизнь, думал, вспоминал, вздыхал и улыбался – и вся эта кипучая картина жизни, которую я воспринимал, – есть прах… Но вот, в середине сада, Бог весть почему, торчит на высокой скале бронзовый бюст Пржевальского. «Все погибнет, – сказал я себе, – а этот останется». Мне стало горько и скверно. И в эту минуту по дорожке, огибающей бюст Пржевальского, проходил молодой человек, аккуратный, высокий, в чистеньком платье, в сереньком пальто. Он имел умеренно счастливый вид: не было никакого сомнения, что подобные мысли никогда не могли бы отравить его сердце. Его жиденькая светлая

бородка была расчесана надвое; он с удовольствием курил папироску и благонравно придерживал другою рукою новенький портфель; у него совершенно определенные цели в жизни и полнейшее внутреннее равновесие.

Его лицо и вся его фигура неизгладимо врезались в моей памяти. И в это мгновение он мне показался великим человеком.

XLIX

Посетил в Париже могилы Мопассана и Башкирцевой.

К Мопассану поехал с тем чувством, что буду наконец хотя бы возле останков человека, так много и так чудесно говорившего моему сердцу и воображению. Могила имеет то преимущество перед жилищем, что к ней едешь как бы по праву, без всяких стеснений и щепетильностей, и притом – несешь к ней искреннее чувство в чистом виде, не изуродованное ничтожностью разговоров и смущением первого знакомства. Думаешь, по крайней мере, что если покойный способен видеть, то он теперь увидит у нас самое дно души. И чувствуешь такую полную близость свою к умершему, какой не испытываешь ни к кому из живых.

Фиакр повез меня за Сену и вскоре, сквозь лабиринт одинаково оживленных улиц Парижа, мы начали подниматься в гору. Я невольно представлял себе, что по тому же самому пути куча писателей, с Эмилем Зола во главе, должна была в день погребения следовать за гробом поэта. Вскоре мы уже были на вершине подъема, и я увидел железнодорожный вокзал с надписью: «Montparnasse», т. е. с именем ожидаемого кладбища. Оно было тут же, сбоку, – за высокой каменной оградой, с неизбежными лавочками венков в прилегающих улицах.

Через широкие ворота я вступил в длинную и правильную аллею кладбищенского сада, заселенного по обеим сторонам тесною толпою памятников. Никаких выдающихся монументов не было заметно. Мне попался какой-то светловолосый худенький юноша, прилично одетый, и на мой вопрос о могиле Мопассана, он выразил свое незнание таким растерянным взглядом, как будто он даже не понимал, о чем его спрашивают.

Я обратился к одному рабочему в голубой блузе, шедшему с каким-то ведром через дорогу. Он мне сейчас же назвал отдел кладбища, но, чтобы не вышло недоразумения, спросил меня: «C'est!., c'est!..»[18] (он затруднялся назвать профессию). «L'écrivain»[19], – подсказал я. Тогда он с уверенностью повторил справку, и, поставив свое ведро на землю, взялся меня проводить.

Оказалось, что Мопассан погребен не на этом, а на другом, новом кладбище, отделенном от старого недавно проведенною улицею Кастанди. Мы дошли до конца главной аллеи, свернули налево в другую, столь же широкую, и по ней вышли из старого кладбища на узенькую улицу Кастанди, состоящую из двух параллельных заборов между двумя кладбищами. Перейдя через нее, мы вступили в обширное квадратное пространство,

окаймленное высокою каменною стеною, но едва лишь наполовину застроенное памятниками.

Воздух был светлый, жаркий и неподвижный. Солнце было чуть подернуто тонким слоем ровного, как бы молочного пара. На новом кладбище была уже своя темно-зеленая аллея, распределяющая его на две половины. Мы пошли в сторону этой аллеи, пересекли ее и стали пробираться между первыми рядами могил, начинавшими заполнять еще совсем свободный участок земли.

– C'est ici[20].

Жидкая чугунная решетка на желтом каменном фундаменте. Внутри – никакого памятника, а только четырехугольник земли, засаженный кустиками синеньких, розовых и белых цветов. Я заметил жасмины, фуксии, мирту… Несколько пчел носилось между цветами. Тонкий серый деревянный крест, вынутый из земли, был положен на изголовье решетки и спускался своим нижним концом на цветы. Старый венок лиловых иммортелей висел наискось на вершине этого креста, а на его переплете виднелась отпечатанная белыми буквами надпись: «Guy de Maupassant, 6 juillet 1893». Мое посещение пришлось на 26/14 июля, т. е. на двадцатый день после годовщины. И не было никаких следов чествования. На передней стороне решетки маленькая чугунная дощечка (не более тех, какие встречаются на квартирных дверях) носила имя поэта, изображенное серыми, как бы стальными буквами на черном фоне: «Guy de Maupassant 1850–1893». Кроме драгоценного имени, ничего не обличало величия этой затерянной могилы.

Рядом с Мопассаном погребена какая-то маленькая девочка. На ее памятнике вырезано:

Angéline Marie

Dupard

décédé le 11 juillet 1892

dans sa 12-me année,

enlevée frop tôt à l'affections de ses

parents inconsolables.[21]

Мое воображение всегда страдает от случайного сближения мертвецов. Снилась ли когда-нибудь Мопассану эта его вечная, неразлучная соседка?..

Я сорвал несколько листиков мирты из Мопассанова цветника и сунул их себе в кожаный бумажник.

Как бы там ни было, но здесь, под землею, лежали остатки того футляра, в котором горел, как бриллиант, этот видный всему миру, привлекательный гений. Здесь, именно здесь – и нигде больше…

Было душно и тихо. Воздух делался серым. Я отошел от памятника.

Медленным шагом вышел я через маленькую улицу Кастанди на бульвар. Два каких-то старика в цилиндрах и черных люстриновых пиджаках солидно прогуливались под деревьями и вполголоса о чем-то спорили, раскрыв свои зонтики. Тогда только я заметил, что уже накрапывает дождь. Не успел я дойти до угла, где оканчивается высокая ограда кладбища, как поднялся настоящий ливень. Я укрылся под навес какого-то убогого кафе и присел за одним из трех столиков. К соседнему столику подбежали застигнутые дождем супруги из простого класса. Гарсон отодвигал деревянные стулья к стене. Супруги спросили себе какого-то сиропа. Улица мгновенно измокла. Но так же быстро дождь начал ослабевать и, пока гарсон приготовлял питье моим соседям, я успел выйти из-под навеса и сел на встречный фиакр.

И я покатил по тому самому Парижу, который, кажется, весь целиком вмещался в истлевшем сердце Мопассана.

На следующий день, в яркое и знойное солнечное утро я проходил площадь Каруселя мимо статуи Гамбетты. Этот монумент поставлен в таком почетном, видном и центральном месте, какого другого и не найдешь в Париже: он как бы переглядывается с Аркою Звезды через широкую ленту, образуемую Тюльерийским садом, Площадью Согласия и подъемною дорогою Елисейских полей. Мимо Гамбетты, по широчайшей площади, вставленной в раму громадных зданий Лувра, движется все парижское население, направляющееся за Сену. Фигура Гамбетты – жирная фигура в просторном сюртуке, как бы произносящая пламенную речь с протянутой в воздух рукою, – помещается над высоким обелиском, испещренным цитатами из его лучших речей. Несколько аллегорических гениев грациозно извиваются вокруг этого упитанного говоруна с

брюхом протопопа, прорывающегося куда-то вперед в состоянии невменяемого экстаза. – Я обошел обелиск со всех сторон и по складам перечел все избранные изречения. Какая банальность и болтливость! Упаси Боже произносить подобные вещи, если только им суждено бессмертие… И здесь-то я впервые приравнял Гамбетту к нашему милому Евгению Утину, который так им увлекался. Делаю комплимент обоим…

Несколько дней спустя мне захотелось взглянуть на могилу Башкирцевой. Эта девушка, сгоревшая от жажды славы, неизменно живет в моей памяти, как Муза Славолюбия. Она посвятила Гамбетте, описывая его похороны, такие восторженные страницы! В них чуется трепет и умиление ее полудетского страстного сердца. Она должна была страдать от своей безвестности и упиваться эффектными, волшебными проявлениями обожания от несметной толпы людей к памяти этого «любимца славы». На этих пламенных страницах, изливавшихся из самой затаенной глубины ее души, она достигала наивысшего красноречия.

Я вспомнил, что у меня есть знакомый парижанин (русский, родившийся во Франции), у которого была погребена сестра на одном кладбище с Башкирцевой, – на кладбище Пасси. Я попросил его съездить со мной туда. Погода была чудесная – с синим небом и ясным солнцем. Кладбище Пасси представляет из себя треугольный садик, врезавшийся в самую середину домов очень оживленного квартала на одном из уступов горы, сейчас же позади Трокадеро. Здесь вы не замечаете никакой границы, отделяющей кладбище от города. Фиакр едет все время по городской теснине и затем, после маленького зигзага в гору, вдруг, в толпе окружающих зданий, останавливается у ворот, которые, как вам кажется, ведут в чей-нибудь частный небольшой сад. Это и есть кладбище Пасси, давно уже переполненное.

И тотчас же, направо от входа, превыше всех памятников, выделяется большая пятиглавая византийская часовня, почти церковь, – могила Башкирцевой. На стенах вырезаны названия написанных ею картин. Сквозь стеклянную дверь видна внутренность маленькой церкви. Это – белая комната, в которой расставлена уже обветшавшая мягкая мебель, вероятно, из домашней обстановки умершей. На задней стене, прямо против зрителя – как божество над алтарем – возвышается мраморный бюст Башкирцевой (по грудь): юная головка с энергичным выражением глаз, с голыми плечиками и с кружевной каемкой рубашки, извивающейся по девственной груди. Под бюстом – алтарь, украшенный зеленью, и на нем крест. Перед алтарем аналой с раскрытою книгою: это рукопись покойной.

Церковь над гробом Башкирцевой не произвела на меня никакого впечатления. Мне мешали именно ее размеры. Могила должна, по возможности точно, обозначать то пространство, где лежит тело. А здесь, под этим зданием, может уместиться сорок покойников.

Ключ от часовни и от склепа был увезен матерью Башкирцевой. Сторож – цветущий француз с проседью – объяснил все это моему спутнику, который тут же вслух порицал затеи матери над прахом дочери.

Сторож выслушал моего приятеля с добродушной улыбкой и в заключение сказал:

– Tout de même, c'était une personne extraordinaire[22].

И он был прав.

L

В каком веке лучше родиться? Всегда – в позднейшем. И не только потому, что с каждым веком увеличивается наша власть над стихиями, власть над сокровищами природы, но и главным образом потому, что каждый последующий век знает свой предыдущий, а предыдущий – сходит со сцены слепым относительно своего последующего. Каждый сын богаче прошлым по сравнению с своим отцом; каждый сын читает продолжение книги, навеки закрытой для его отца.

LI

Яркое солнце светит на скатерть. Узкий стакан с белым вином отбрасывает длинную тень, на которой внизу горит желтый треугольник, как в зажигательном стекле. Вино искрится и отливает цветами на тонком хрустале. И когда, отпив вина, поставишь стакан, то на его тени бегают извилистые светлые жилки с темными краями, – отражение стекающих капель… Как велика жизнь, когда она проявляется в этих волшебных мелочах!

notes

Примечания

1

Многое из этого периода моей жизни выражено мною в поэме «На утре дней» – в пьесе автобиографической от начала до конца, с весьма прозрачной маскировкою действительности. Не повторяю здесь всего того, что там уже сказано.

дорогой *(фр.)*.

3

«Книга медиумов» и «Книга духов» *(фр.)*.

4

У В. Гюго это сказано удивительно в двух стихах: «C'est un prolongement sublime que la tombe: On y monte, étonné d'avoir cru qu'on y tombe». Могила – всего лишь божественное продолжение: Мы возвышаемся до нее, Удивляясь себе, считавшим, что в нее сходят *(фр.)*.

героя-любовника *(фр.)*.

6

Пунцовое всегда смотрится очень приятно на фоне зелени *(фр.)*.

«Вот розовая страна!» *(фр.)*.

«помни о смерти» *(лат.)*.

9

«Месье префект! Я решил покончить с собой. Прошу кремировать меня без каких-либо обрядов» *(фр.)*.

10

«Бедный Павлик!» *(фр.)*.

Тот же взгляд чудесно выражен в песенке:

La vie est vaine:
Un peu d'amour,
Un peu de haine…
Et puis – bonjour…
La vie est brève:
Un peu d'espoir,
Un peu de rêve…
Et puis – bonsoir!
Жизнь тщетна:
Немного любви,
Немного ненависти,
И затем – привет!
Жизнь коротка:
Немного надежды,
Немного грез
И потом – привет *(фр.)*.

12

La mort: une syncope suivie d'un désagrément. Смерть – пауза, следующая за неприятностью *(фр.)*.

выездных лакеев *(фр.)*.

«Жирондисты». «Последние победы террора» *(фр.)*.

цвета зеленого бутылочного стекла *(фр.)*.

(пример) всеобщего избирательного права *(фр.)*.

17

«Грубовато, но неплохо, это впечатляет» *(фр.)*.

18

«Это!.. это!» *(фр.)*.

19

«Писатель» *(фр.)*.

20

Это здесь *(фр.)*.

21

«Анжелина Мари Дюпар скончалась 11 июля 1892 г. на 12-ом году жизни, слишком рано лишившись любви и нежности своих безутешных родителей» *(фр.)*.

22

И все же это необыкновенная личность *(фр.)*.